

# ЛИТЕРАТУРА

ПОДПИСНАЯ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ СЕРИЯ



1988/11

## ЭПОС ВОЙНЫ НАРОДНОЙ



### ЗНАНИЕ

НОВОЕ В ЖИЗНИ, НАУКЕ, ТЕХНИКЕ

НОВОЕ В ЖИЗНИ, НАУКЕ, ТЕХНИКЕ

ПОДПИСНАЯ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ СЕРИЯ

# ЛИТЕРАТУРА

11/1988

Издается ежемесячно с 1967 г.

## ЭПОС ВОЙНЫ НАРОДНОЙ

(ДИАЛОГ О РОМАНЕ  
ВАСИЛИЯ ГРОССМАНА  
«ЖИЗНЬ И СУДЬБА»)



Издательство «Знание» Москва 1988

ББК 83.3  
Э 72

Рецензент: Л. И. Л а з а р е в — зам. гл. редактора журнала  
«Вопросы литературы».

Редактор: Н. М. КРАСНОПОЛЬСКАЯ.

Эпос войны народной: (Диалог о романе Василия  
Э 72 Гроссмана «Жизнь и судьба». — М.: Знание,  
1988. — 64 с. — (Новое в жизни, науке, технике.  
Сер. «Литература»; № 11).  
11 к.

Брошюра посвящена роману В. Гроссмана «Жизнь и судьба»  
(Октябрь. — 1988. — № 1—4). В диалоге участвуют доктор исто-  
рических наук, военный историк по специальности В. М. Кулиш и  
кандидат филологических наук, критик, член редколлегии журнала  
«Знамя» В. Д. Оскоцкий.

4603010000

ББК 83.3

© Издательство «Знание», 1988 г.



## ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Брошюра, целиком посвященная только одному произведению, — такого в нашей практике еще не было. Ну а если это произведение «Война и мир» или «Братья Карамазовы»? «Жизнь Клима Самгина»? «Тихий Дон»? Или какой другой из классических романов прошлого и нынешнего века?

Роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» соотносим с ними и широкими эпическими горизонтами повествования, и философскими масштабами художественной мысли, и пафосом гуманизма. К тому же в отличие от них принял на себя такую драматическую судьбу, что одно это оправдывает особо заинтересованное внимание издателей, критиков, читателей.

Необычна и форма анализа, избранная авторами брошюры — доктором исторических наук В. М. Кулишом и кандидатом филологических наук, литературоведом и критиком В. Д. Оскоцким. Они предлагают не статью, написанную в соавторстве, а диалог, в ходе которого один воспринимает «Жизнь и судьбу» как главным образом достоверное и яркое свидетельство народной истории, а другой больше рассуждает о своеобразии писательского мастерства, видя в романе самобытное явление искусства, созданное по своим художе-

ственным законам. На скрещении этих двух точек зрения и высвечивается крупномасштабное значение произведения, журнальная публикация которого (Октябрь. — 1988.— № 1—4) стала событием литературной жизни.

**Валентин ОСКОЦКИЙ.** Сначала шумно гадали: кто напишет «Войну и мир» о Великой Отечественной. И если кто-то из тех, кто сам прошел ее огневые пути-дороги, то в генеральском или лейтенантском чине он был, в офицерской или солдатской шинели. Потом стали горестно сетовать: идут годы, десятилетия, а «Войны и мира» нет как нет. Помню, на одном из писательских пленумов, проходивших в середине 70-х, Григорий Бакланов прервал привычный ход подобных гаданий и сетований:

— А так ли уж мы хотим появления новой «Войны и мира»? И легко ли придется ее автору, если вдруг да напишет?

Не берусь судить, знал он тогда или не знал о трагической судьбе романа Василия Гроссмана, читал или не читал его, но в вопросах, смутивших зал прямоотой и резкостью, слышится с расстояния времени и такой подтекст: да появившись у нас эпопея, проникнутая крупномасштабной мыслью о народе и войне и воплотившая непререкаемую правду войны, мы не только не признаем в ней «Войны и мира», но и вообще отторгнем, отлучим от литературы. Или, что почти то же, смиримся с насильственным отторжением.

Так именно случилось с романом Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», более других произведений тогдашней и последующей военной прозы тяготевшим к эпически монументальному воплощению исторической правды Отечественной войны, судьбы человеческой и судьбы народной на войне. «Почему же на мою книгу, которая, может быть, в какой-то мере отвечает на внутренние запросы советских людей, книгу, в которой нет лжи и клеветы, а есть правда, боль, любовь к людям, наложен запрет, почему она забрана у меня методами административного насилия, упрятана от меня и от людей, как преступный убийца?.. Если моя книга — ложь, пусть об этом будет сказано людям, которые хотят ее прочесть. Если книга моя — клевета, пусть будет сказано об этом. Пусть советские люди, советские читатели, для которых я пишу 30 лет, судят, что правда и что ложь

в моей книге. Но читатель лишен возможности судить меня и мой труд тем судом, который страшней любого другого суда — я имею в виду суд сердца, суд совести. Я хотел и хочу этого суда», — убежденно, по тшцетно вопрошал и взывал Василий Гроссман, настаивая на неотъемлемом писательском «праве писать правду, выстраданную и вызревшую па протяжении долгих лет жизни». Н. С. Хрущев, которому адресовано это отчаянное письмо, автора ответом не удостоил. Принявший писателя М. А. Суслов заявил безапелляционно: «...об этом романе и не думайте. Может быть, он будет издан через двести-триста лет».

По счастью, социалистическая демократия развивается не такими черепашьими шагами. И тридцати — всего-то! — лет не прошло, как мы читаем «Жизнь и судьбу» и гласно об-суждаем с двух точек зрения: моей, литератора, и вашей, историка.

Представим мысленно, что «Жизнь и судьба» напечатана не сейчас, в 1988 году, а тогда, когда написана, — в 1960-м. Вся карта литературы стала бы другой, и масштабы ее — иными. Подобно тому, как Толстой «Войной и миром» если не отменяет, то заслоняет «Сожженную Москву», обрекает Данилевского на неизбежную вторичность, так и Василий Гроссман «Жизнью и судьбой» пусть не до конца преградил бы триумфальный выход к читателям, но наверняка бы затруднил непомерно возбужденное признание ими не только эпопейных боевиков типа «Щит и меч» Вадима Кожевникова или «Семнадцать мгновений весны» Юлиана Семенова, но и немалого ряда «олауреаченных» ромапов-эпопей, над претенциозной подражательностью которых в начале 70-х иронизировал покойный литературовед и критик Лев Якименко: «Повторить «Войну и мир» Л. Толстого невозможно. Между тем в некоторых современных ромапах в расположении фигур, трактовке событий и исторических лиц как бы копируется композиция «Войны и мира». В них появляются подобиа Ростовых, Болконских, появляются девушки, чем-то отдаленно напоминающие Наташу Ростову. И даже Наполеоны и Кутузовы в новых исторических одеяниях».

Разделяя эту иронию, считаю полезным оговориться на всякий случай. Не спешите ловить меня на противоречии: с одной стороны, солидаризируюсь с давним, но и поныне не утратившим актуального полемического заряда предостере-

жением, а с другой — соотношу «Жизнь и судьбу» с «Войной и миром». Но в том и суть, что соотносить — не значит отождествлять или уравнивать, проводить прямые, буквальные аналогии, выискивая среди героев Василия Гроссмана Андрея Болконского, Пьера Безухова или уподобляя Петра Вавилова — Платону Каратаеву, Женью Шапошникову — Наташе Ростовой, Сережу Шапошникова — Пете Ростову и т. д. Речь о другом. Об эпической направленности художественного поиска, его толстовской ориентации, осознанной писателем. И намеренно подчеркнутой еще в романе «За правое дело». Например, посещением Крымовым по дороге в Тулу яснополянского дома, который он «с поразительной ясностью» воспринял «живым, страждущим, сущим среди сотен и тысяч живых, страждущих, сущих русских домов» и тем нераздельней слил воедино «то, что происходит сейчас, и то, что описано Толстым в книге с такой силой и правдой, что стало высшей реальностью прошедшей сто лет назад войны». Или — разговором о Кутузове «в тесной подземной приемной командующего Сталинградским фронтом», когда собравшиеся здесь военные корреспонденты «невольно подумали: может быть, в это время происходит заседание Военного Совета, такое же, как происходило осенью 1812 года в Филях». Обе сцены — что мост, переброшенный в «Жизни и судьбе» к прямой ссылке на Толстого, который «опоэтизировал идею народной войны».

**Василий КУЛИШ:** «Опоэтизирование идеи народной войны», бесспорно, могло возникнуть у Василия Гроссмана под влиянием Льва Толстого. Однако для того, чтобы опоэтизировать войну как народную, отечественную, нужно, чтобы война была именно такой по своему характеру. Трудно, например, опоэтизировать войну с Финляндией зимой 1939/1940 года, несмотря на то что на «познаменитой» той войне многие погибали героями. На создание эпосов о войне отечественной вдохновили писателя сама освободительная война, воевавший советский народ. При этом он берет не всю войну, а самый трудный, переломный этап — Сталинградскую битву. И не столько даже самую битву, хотя она представлена почти с хронологической точностью, сколько время, которое пережили наша страна, весь советский народ. Если описываемые или называемые в романе события выстроить во временной последовательности, то они охватят

период от 30-х годов до середины 1943 года, а некоторые будут устремлены и в перспективу послевоенных лет. Через них писатель осмысливает всю историю нашей страны советского периода, в том числе и Отечественную войну.

Историческую основу романов «За правое дело» и «Жизнь и судьба» составляет идея, что война со стороны Советского Союза была подлинно народной, освободительной, справедливой. Эта идея, сухо и скупо, можно сказать, казенно выраженная в трудах советских авторов по истории Отечественной войны, в романах Василия Гроссмана получила яркую эмоциональную и психологическую окраску.

В. О. Ключевая идея народного характера войны как освободительной, справедливой, решающей исторические судьбы отечества последовательно воплощается в эпическом строе диалогии на всех ее структурных уровнях — от больших сюжетно-композиционных блоков до малых лексических или стилевых компонентов поэтики, мощно заряженных образной энергией слова. Эта идея ведет, направляет логику сюжета, цементирует единство характеров и обстоятельств. Писательской заявкой на нее выразительно прозвучало название первой, написанной в Сталинграде военной повести Василия Гроссмана «Народ бессмертен». Еще в романе «За правое дело» ею изнутри были просвечены многие и разные повествовательные пласты. Такие, как «грозное видение ленинградской зимы», воскрешаемой памятью Мостовского, или «огромность происшедшего народного бедствия», понятая Новиковым «в жестокий день 22 июня 1941 года». Зачем, спрашивается, роману о Сталинграде пограничный Брест и блокадный Ленинград, киевский плацдарм, оставленный в сентябре, и наступление под Москвой в декабре 1941 года? Не боковые ли это ответвления, «панорамирующие» действие формально?

Нет, не умозрительно нужны — художественно необходимы подобные внесюжетные вставки, как и частые лирические или публицистические отступления. Да и никакие это не вставки, не отступления, а опорные звенья авторской мысли, эпически размыкающей собственно сталинградские мотивы во времени и пространстве. Такую разомкнутость — не случайно война названа «морем, в которое вливались все реки и из которого рождались все реки», — предполагают общенародные и всемирные масштабы Сталинграда. «Миро-



вой город войны», говорит о нем писатель в финале второго романа, «ее душа, ее воля». И если Сталинграду, на который «работали заводы и фабрики, ротации и линоотыпы», суждено было стать «мыслью и страстью человеческого рода», если на сталинградских «улицах решалась судьба войны» и «исход этой битвы определял карту послевоенного мира», «философию истории, социальные системы будущего», то как было не вписать его в широкую и плотную, событийно насыщенную панораму времени исторического — и самой войны от ее первых роковых дней, и предшествовавших им лет и десятилетий.

Разные дороги ведут через войну героев диалоги и никого не обходят по-житейски разными драмами. Не каждый из них, дорогих и близких писателю, называет землю, подобно солдату Петру Вавилову («За правое дело»), «не земным, а земляным шаром» и так же открыто, как он, излучает «ясную, простую и душевную чистую силу», которая не исчезает и с его гибелью вместе со всеми людьми филиппинского батальона, как бы продолжавшими жить даже после своей последней битвы на вокзале — в «сталинградской традиции, той, что передавалась без слов, от души к душе». Но каждый — неповторимое лицо, самобытный характер в череде лиц и характеров, совокупностью своей складывающих обобщенный портрет человека, который пришел к победе над фашизмом, «перенеся поистине огромные страдания и совершив великие подвиги». Верный себе, своим принципам реализма, Василий Гроссман называет его простым, но не в том ходульном смысле, который вкладывался в мажорные слова довоенной песни: «По полюсу гордо шагает, меняет течение рек, высокие горы сдвигает советский простой человек». Видит в нем героя, но не каким «становится любовью», как только «страна прикажет» (тоже из песни тех лет), а такого, чье природное, как жизнь, героическое естество не терпит суесловной риторики, не выносит парадности громких и пышных речей.

Тем неуступчивей писательский спор с по-книжному форсированной героизацией, аффектированной романтизацией людей, которые, спустя годы оглядываясь «на великое, грозное время, когда уже отшумела жизнь кровавых лет мировых потрясений», начинают думать, будто в ту пору жили не они сами, а «одни лишь титаны, герои, великаны духа»,

В таком «благородном, но наивном взгляде на прошлое», убежден писатель, не сыскать истины. «Разве любовь к свободе, радость труда, верность Родине, материнское чувство даны одним лишь героям? И разве не в этом надежды людского рода: поистине великое свершается обыкновенными простыми людьми». Так было в суровой и жестокой действительности войны. Так происходит это и в неукоснительно следующих ее многотрудной правде романах Василия Гроссмана: героические «дела, которые грядущие поколения назовут бессмертными», с «естественной простотой» совершают «люди, которых принято называть простыми, обыкновенными людьми, скромными тружениками». Они отводят «топор над Сталинградом» — палаческий топор, который фашизм занес «над человеческой верностью свободе, над мечтой о справедливости, над радостью труда, над верностью Родине и детям, над материнским чувством, над святостью жизни». Каким всесветным истреблением грозило это стране и народу, самой, повторяя Твардовского, «жизни на земле», показывают в обоих романах многие картины и сцены, выдержанные на крайнем трагедийном пределе, живописуемые во всей их страшной, беспощадной доподлинности.

Намеренно выделяю слово трагедия, настаиваю на нем категорически. Отчасти — в полемический противовес «Военно-историческому журналу», заявившему в редакционной статье июньского номера за этот год: «В последнее время «усилиями» ряда писателей, журналистов и историков — вот видите, и вам, историкам, достается наравне с нами, писателями! — начальный период Великой Отечественной войны вопреки исторической достоверности и архивным документам из тяжелого превращается в «трагический» и в основном ассоциируется со словами «печаль», «растерянность», «неразбериха». Все это создает у миллионов людей, особенно у молодежи, неверные представления о том, что было на самом деле в первые месяцы войны». Удивительное дело: Минск сдан на пятый день войны, немецкие танки под Москвой вышли к Химкам, ленинградская Стрельня — кольцо одного из трамвайных маршрутов — занята немцами, метрами измеряется полоса, отделяющая их в Сталинграде от волжского берега, но всего этого, оказывается, маловато для трагедии! Наивность? Что же до бдительных радений о целомудренной молодежи, то давно известно, что даже истые

проповедники непорочного зачатия сами в него все-таки по верили...

В. К. Василий Гроссман последовательно реализует свое кредо художника, рисуя войну, ее события жесткими красками. Война для него — не игра в героизм, не сфера красивых подвигов, а суровая необходимость, в которой человек, оставаясь человеком, защищает свои интересы, проявляет волю и стремление к свободе, личной независимости. Война — это среда, в которой раскрывается человек со всеми заботами и нуждами, убеждениями и надеждами. При этом Василий Гроссман четко определяет различие между своим, художническим изображением войны, и тем, как война запечатлевается в памяти народной, в исторических описаниях. Для него, выдающегося художника, важно было исследовать человека, его чувства, сознание, поведение в экстремальных условиях войны, способность человека в силу заложенных в нем общественными условиями и природой свойств творить добро и зло. Но писатель не ограничивается исследованием только отдельного человека. Через конкретных людей он прослеживает жизнь и деятельность социальных образований различных типов.

Отличие художественного отображения событий от обыденного или научного он представил следующим образом: «Человеческое сознание, обращаясь к прошедшему, всегда просеивает сквозь скупое сито сгусток великих событий, отсеивает солдатские страдания, смятение, солдатскую тоску. В памяти остается пустой рассказ, как были построены войска, одержавшие победу, и как были построены войска, потерпевшие поражение, число колесниц, катапульт, слонов либо пушек, танков и бомбардировщиков, принимавших участие в битве. В памяти сохранится рассказ о том, как мудрый и счастливый полководец связал центр и ударил во фланг и как внезапно появившиеся из-за холмов резервы решили исход сражения. Вот и все, да обычный рассказ о том, что счастливый полководец, вернувшись на родину, был заподозрен в намерении свергнуть владыку и поплатился за спасение отечества головой либо счастливо отделался ссылкой». И хотя это рассуждение вставлено лишь в конец второй части «Жизни и судьбы», оно, на мой взгляд, дает ключ к пониманию особенностей художественного исследования Отечественной войны как в этом романе, так и в предшест-

вовавшей ему первой книге — «За правое дело». Писатель также «просеивает сквозь сито» восприятие своими героями «сгустка великих событий». Но через его сито просеиваются и человеческие судьбы — страдания и смятение, тоска и переживания, надежды и разочарования, влеты и падения, а при их посредстве то многоцветными красками, то скупыми мазками, но четко и объемно, предельно выпукло изображена картина жестокой, но подлинно народной войны, показаны те силы, которые своими действиями, своей кровью и неисчислимыми жертвами определили ее ход и исход, привели нашу страну к великой победе.

**В. О.** Можно представить читателя, который, не вникая, не вдумываясь и не вживаясь в писательское рассуждение о сите, просеивающем «сгусток великих событий», выхватит из целостного контекста одну фразу об опальном победителе-полководце, спасителе отечества и, радуясь собственной проницательности, увидит тут скрытый намек на послевоенную судьбу маршала Жукова, который к тому времени, когда писался роман, оказался в немилости уже вторично — на этот раз у Н. С. Хрущева. Как бы подыгрывая столь плоскостному прочтению, однозначному истолкованию художественного текста, Василий Гроссман и в другом месте, перекликающемся с приведенным, считает за службу организаторов сталинградского наступления бесспорной, но их идею окружения немцев не склонен называть гениальной; она всего лишь неизменная ось спирали человеческого движения, вечно множащей свои витки вширь и ввысь. И так завершает этот мотив: «Нелепо отрицать значение для дела войны деятельности генерала, руководящего сражением. Однако неверно объявлять генерала гением. В отношении способного инженера-производственника это глупо, в отношении генерала это не только глупо, но и вредно, опасно». Чем, казалось бы, не зашифрованный выпад персонально в Сталина, по непреодоленной инерции культовых представлений и по сей день еще нет-нет да и величаемого если не гениальным полководцем всех времен и народов, как было при жизни генералиссимуса, то на худой конец вдохновителем и предводителем как разгрома фашизма вообще, так и сталинградской победы в частности!..

А между тем подобные узнавания «прототипических» реалий и адресатов писательской полемики — не более как

верхний слой, наружный пласт повествования. «Аллюзия» — неуклюжий эвфемизм, обозначающий в пору застоя «кукиш в кармане», — не его стихия. И «За правое дело», и еще в большей мере «Жизнь и судьба» — романы не прямолинейных публицистических обличений, а глубоких философских раздумий. В том числе и о правде искусства, синонимичной правде жизни. Василий Гроссман был из тех писателей, выдающихся мастеров нашей литературы, которые не разделяли эти понятия, не разводили обе правды по разным берегам. В утверждении их органичной слитности — полемический смысл неоднократных упоминаний социалистического реализма, декретированных догматам которого чаще и больше всего нестерпим как раз реализм (да и реальный социализм, пожалуй, тоже). В них метит саркастическое определение Мадьярова: «Соцреализм — это утверждение государственной исключительности... восторг перед собственной исключительностью. Гениальному государству без недостатков плевать на всех, кто с ним не схож». И горькая авторская ирония, комментирующая душевное смятение узника Лубянки, который не в силах «понять, в чем его обвиняют — то ли в покушении на жизнь Сталина, то ли в том, что ему не нравятся произведения, написанные в духе соцреализма».

Наиболее развернутое и выразительное обоснование эстетическая программа Василия Гроссмана получила в публицистическом отступлении, где книгам надуманным, которые «человек, робяя своей живой и естественной простоты», читает «без волнения и радости», противопоставляются книги правдивые, помогающие человеку узнать и познать себя, а узнав и познав, радостно воскликнуть: «Ведь и я так думал, чувствовал и чувствую, ведь и я это пережил». Искусство надуманное, то есть ложное и лживое, продолжает писатель, «втиснуто между человеком и миром, как тяжелый и непреодолимый, сложный узор, как шершавая чугунная решетка». Искусство правдивое и, стало быть, истинное «не отделяет человека от мира», напротив, соединяет его «с жизнью, с миром, с людьми. Оно не рассматривает жизнь человека через особенное, «затейливое», цветное стеклышко. Человек, читая такие страницы, словно растворяет жизнь в себе, впускает огромность и сложность человеческого бытия в свою кровь, в свою мысль, в свое дыхание».

Не утаю: умышленно цитирую не из «Жизни и судьбы», где аналогичных высказываний отыщется тоже немало, а из романа «За правое дело». Созданный на рубеже 40—50-х годов и напечатанный в 1952 году, он нес на себе зримую печать того времени. Вот и в приведенном публицистическом отступлении явственно проглядывается тогдашний адрес полемики: официозное лакировочное искусство, установочно нацеленное «теорией бесконфликтности» на идеального героя, отвергающее суровую реальность как современной ему послевоенной действительности, так и недавней войны, все заметнее принимавшей в книгах и на экране непохожий парадный лик, бравурные черты, фанфарное звучание. Однако развенчание такого искажающего жизнь искусства имело для писателя и сохранило для нас отнюдь не сиюминутное значение. Узнаваемое жизнеподобие действительности в противовес ее вымученной, натузливой идеальности обретало не замкнутый внутрилитературный, а широкий общественный смысл и подавалось не тактическим лозунгом преходящего момента, а как универсальный закон, основополагающий принцип искусства, на котором извечно покоится исследовательская мощь реализма. Роман «За правое дело» неизменно оставался внушительным выражением ее не только в те 50-е годы, но и в последующие десятилетия. Без этой первой книги эпической дилогии вторая книга — роман «Жизнь и судьба» — попросту не состоялась бы.

Конечно, «Жизнь и судьба» — вершина творчества Василия Гроссмана, как равным образом и вершинное воплощение мысли народной в прозе о Великой Отечественной войне. Но из-под пера писателя этот роман вышел не вдруг и в литературе возник не на пустом месте. Прав поэтому Семен Липкин, охотно согласившийся с тем, что второй роман «намного выше, намного важнее» первого, но тут же уточнивший: оба «принадлежат одному и тому же таланту, цельному и мощному, как Пушкину принадлежат «Руслан и Людмила» и «Борис Годунов», Блоку — «Стихи о Прекрасной Даме» и «Двенадцать».

Такой — сплошь имена великих! — ряд не должен смущать нас. Как мы видели в случае с Толстым, сам Василий Гроссман задавал своей прозе высшие точки отсчета. Но одно дело задавать высокие требования и критерии, другое — отвечать им. Василий Гроссман отвечает не каждым рома-

ном порознь, а диалогией в целом, да и не одной только диалогией, ибо ее идеи и образы вобрали многое из того, что ей предшествовало в записных ли книжках фронтового корреспондента, в публицистике военных лет или повести «Народ бессмертен».

Начать с записных книжек, сберегших учащенную пульсацию писательской мысли, анализирующей и обобщающей прожитое и пережитое. Рабочие, черновые записи на память, впрок. Но зафиксированные ими беглое наблюдение или мимолетное впечатление нередко переплавлялись затем в образную структуру романных повествований. Причем, что характерно для Василия Гроссмана, зачастую при сохранении текстуальных соответствий с первоисточником. Ни слова, по существу, не изменено в записи с Юго-Западного фронта, датированной зимой—весной 1942 года: «Всю ночь лежал мертвый летчик на прекрасном снежном холме — был большой мороз, и звезды светили очень ярко. А на рассвете холм стал совершенно розовый, и летчик лежал на розовом холме». Исключая снятый эпитет «прекрасный» и добавленную заключительную фразу «Потом подула поземка, и тело стало заносить снегом», запись целиком перенесена в завершение последней главки второй части «Жизни и судьбы», где рассказывается о гибели старшего лейтенанта Викторова. Так факт, отложившийся в памяти, переосмысливался образно и, обретая новое художественное качество, укрупнялся до символического обобщения.

Не столь туго натянутая, но и не провисающая нить связует отдельные главы диалогии с военными очерками Василия Гроссмана, в частности — с очерком «Треблинский ад». Его публицистически выраженная идея «ответственности Германии за то, что произошло, ...ответственности всех народов и каждого гражданина мира за будущее» отозвалась в романе «За правое дело» отнюдь не фантазмагорическим видением Гиммлера, въяве вообразившего «на пустынных землях Востока строгую простоту газовых камер». В романе «Жизнь и судьба» вождельные грезы человеконенавистников, с упоеанием проектирующих «поэзию первозданного хаоса, смешавшего смерть и жизнь», обретают зловещие черты бетонного сооружения, чье внутреннее устройство «соответствовало эпохе промышленности больших масс и скоростей»: оно предназначено для преступного «дела, вызываю-

щего тайный холодок ужаса даже в каменных сердцах». За ночным застольем «с вином и закусками» посреди газовой камеры — забавный сюрприз, милая выдумка строителей, скрасивших обыденность секретной инспекции в очередном лагере уничтожения, — планируемое количество смертников сообщается на ухо конфиденциальным шепотом. «Миллионов?» — поражается выдавший виды оберштурмбанфюрер Лисс. Но независимо от того, восьми- или семизначна цифра, достижение которой должно было означать, что гитлеровские расисты «за двадцать месяцев... решили вопрос, который человечество не решило за двадцать веков!», бесперебойные обороты запущенной на полный ход машины не менее чудовищны и тогда, когда писатель вплотную приближает их к одной перемалываемой судьбе, поглощаемой жизни. Малолетнего ли Давида, который первым различил «слабый сладковатый запах» газа, престарелой ли Софьи Осиповны Левинтон, в чьих сильных, горячих руках он вскоре «перестал быть».

Возможно, я увлекаюсь цитированием. Однако мыслимо ли остаться безучастным к подобным находкам, открытиям писателя, чей роман, как и дилогия в целом, не просто свидетельство истории, что само собой разумеется, но раньше и прежде всего художественный эпос?

Эпичны, по существу, картины бедствий войны, которые переживают и фронтовики, и мирные жители.

«Десятки фашистских танков вырвались на равнину, по которой шли киевские беженцы». Часть их, не снижая скорости, врезалась в толпу женщин и детей. Один из танков прошел в десятке метров от окруженца Крымова и показался ему похожим «на разъяренного охотой зверя с окровавленной пастью».

«Высокие, точеные столбы воды» в брызгах и пене подняты бомбами, сброшенными на катера и лодки, которые вывозят детей из пылающего Сталинграда на левый берег. И что там одна слезинка, если отчаянный выкрик «Мама!» взмывает над Волгой как безответный и неутешный «призыв сирот к погибшим, убитым матерям».

«Горящая нефть хлынула к Волге» из подожженных немцами нефтебаков, и «казалось, не было уже возможности выбраться живым из этого текучего огня. Огонь гудел, с треском отрываясь от нефти, заполнявшей ямы и воронки,



хлеставшей по ходам сообщения. Земля, глина, камень, пропитываясь нефтью, начинали дымить... Огонь подымался на много сотен метров вверх, унося облака горячего пара, которые взрывоподобно вспыхивали высоко в небе».

Воистину всеистребляющий хаос выстрелов, разрывов, пожаров, на глазах уносящих сотни, тысячи, десятки тысяч человеческих жизней. Но и в этом непроглядном дыму, всепожирающем пламени «на шестнадцать часов силой одного лишь пулеметного огня» задерживает немцев начальник пограничной заставы, погибший в первый день войны вместе с женой и двенадцатилетним сыном. И «первые воздушные солдаты» на прорешеченных пулеметными очередями «Мигах» заслоняют «своим телом тело народа». И остается в памяти отступающих «далекий тяжелый гул крепостных орудий брестских фортов — там, в огромных бетонных дотах люди вели свой рыцарский бой и тогда, когда лавина немецкого нашествия уже подкатывала к Днепру».

Таким видел и воссоздавал Василий Гроссман сталинградский пролог. Но он не был бы Василием Гроссманом, если бы, повествуя о лете—осени 1941 года, не поставил в один нечленимый ряд «стальную верность, измену, отчаяние и непоколебимую веру». Что правда, верность в его романах всегда берет верх над изменой и вера над отчаянием, но в том ведь и заключалась непререкаемая «простая истина первых часов» и дней войны, что «с пользой для Советской России и с ущербом для врага выполняли свой долг те, кто имел силу, мужество, веру и спокойствие драться с сильнейшим врагом». Писатель называет их безвестными героями первого периода войны, которым «Россия во многом обязана своим спасением». Спасителями отечества приходят они и «под высокий обрыв» сталинградского берега, откуда, как на краю земли, открывается вид «на угрюмую песчаную заволжскую степь. Глаза, были ли то глаза пожилого ездового или глаза лихого, молодого наводчика пушки, наполнялись печалью». В том, что она так же обожжет «историков будущего», то есть нынешних читателей, Василий Гроссман не сомневался. И приглашал поэтому нас, желающих полнее и глубже «понять дни перелома», вернуться на этот откос после войны, чтоб хотя бы на миг представить себе «солдата, сидевшего под волжским обрывом, ...представить, о чем он думал».

**В. К.** Суровая правда о войне, о советском человеке и его качествах, со всей полнотой раскрывшихся в экстремальных условиях войны, — главное достоинство романа «Жизнь и судьба». В нем каждый человек — значительная личность, которая вместе с другими вершит судьбы исторических событий. Для писателя чужды идеи «героя и толпы», «винтиков» и «колесиков» в сложном общественном механизме.

**В. О.** Но именно это и было в свое время поставлено в вину Василию Гроссману. Известно, чем широкоохватней, крупномасштабней эпический роман, тем чаще уподобляют его полноводной реке, морю, океану. Генрих Бёлль, высоко ставя «Жизнь и судьбу» как исторический документ эпохи и явление мирового искусства, называл роман космосом, «который исследуешь в ходе чтения».

Принцип открытого космоса, закон расширяющейся вселенной, похоже, и не устроили больше всего запретителей и устрапителей романа в 60-е годы. Более того, не понятые до конца, во всей их изобразительной полноте, апалитической глубине, но угаданные интуитивно, они насторожили и критиков романа «За правое дело» в начале 50-х.

«Эпопея народной войны» — называлась одна из первых, вскоре оспоренных статей о романе. Именно эпичность художественной мысли и была потом снисходительно отнесена к тем малым и немногим «отдельным удачам», которые «не могут заслонить одной большой неудачи, постигшей В. Гроссмана. Ему не удалось создать ни одного крупного, яркого, типичного образа героя сталинградской битвы, героя в серой шинели, с оружием в руках... Таких героев, которые были бы типичны, несли в себе основные черты характера советского народа, наиболее полно выражали сущность его, нет в романе «За правое дело». И далее на таком же уровне и с той же откровенной, демонстративной неправдой по отношению к реальному содержанию повествования: «Заняв огромную площадь романа серыми, бездействующими персонажами, В. Гроссман, естественно, не смог уделить серьезного внимания таким героям, которых должен был показать на первом плане... Неверно идейно осмыслен героический подвиг советских воинов. В ряде эпизодов автор упорно подчеркивает мотивы обреченности и жертвенности...».

Это — из статьи Михаила Бубеннова, напечатанной в «Правде» в феврале 1953 года. Незадолго до или вскоре после нее появились другие критические отзывы, в том числе один из самых резких — «Роман, искажающий образы советских людей» — в журнале «Коммунист». «Идеологическую диверсию» углядел в романе «За правое дело» Аркадий Первенцев. Стало известно, что роман «не понравился» Маленкову. «Кому вы поручили писать о Сталинграде? В своем ли вы уме? Я против», — не преминул вмешаться Михаил Шолохов. Свою, причем, немалую лепту внес Александр Фадеев докладом «Некоторые вопросы работы Союза писателей», первая часть которого целиком посвящалась сокрушительной критике романа Василия Гроссмана. Внутренняя рецензия А. Фадеева, написанная в 1954 году в поддержку переиздания «За правое дело» «в новом, исправленном и дополненном варианте», то есть с устранением мифических ошибок, сыграла положительную роль. О романе в целом говорилось уже как «о незаурядном явлении советской литературы», и автор отзыва на этот раз сожалел, что им «тоже были допущены неоправданно резкие оценки, вызванные приходящими и устаревшими обстоятельствами».

Так в чем же, спрашивается, было дело, из-за чего разгорелся сыр-бор?

На разгоревшийся в ту пору антисемитизм списывается многое, но не все, хотя постыдная на бытовом уровне позиция начинала все чаще претендовать на выражение общественных настроений, провоцируемых сначала кампанией борьбы с «безродными космополитами-антипатриотами» в литературе и искусстве, литературной и театральной критике, затем сообщениями об арестах врачей — «убийц в белых халатах». Перед лицом таких настроений крамольно выглядели раздумья Крымова «о зверствах гитлеровских армий» и силе, энергии интернационализма, которые «можно противопоставить националистическому бешенству, охватившему Германию». И на выпад или вызов официозу походило двукратное упоминание так, впрочем, и не приведенного письма Анны Семеновны Штрум — дневниковых записей, которые она вела «с первых дней войны до дня нависшей над ней геминуемой гибели за проволоккой еврейского гетто». Суть, однако, не в отдельных раздражающих эпизодах или мотивах. Признавая идею народной войны как лозунг, как деклара-

цию, догматическое, конъюнктурное мышление отторгало ее жизненное — социальное и духовное — содержание, историческое и философское наполнение, не принимало интернациональный и гуманистический пафос.

Нестерпимо дерзостно звучало для него слово «страшно», которым отвечал на вопрос о войне летчик Викторов. Совершенно недопустим был пока что робкий, облегченный, но прозрачный намек на драмы коллективизации и голод начала 30-х годов на Украине, на Дону, в Поволжье. А что это за зыбкие туманности в писательских суждениях о том, как в «грозный и радостный час» Сталинграда рушились «ложные оценки, и именно в этом — то истинное и новое, что дают нам суровые испытания в понимании человека. Истинная мера человека, видим мы, должна быть совершенно чужда внешнего и случайного... Эта мера человека была проверена на улицах пылавшего Сталинграда»? Этак, чего доброго, и до свободы личности легко договориться, что, впрочем, и делает писатель, заявляя, будто «в Сталинграде, где выяснилось, как хрупко и непрочны бытие человека, ценность человеческой личности обрисовалась во всей своей мощи». За свободой же личности, как водится, воспоследует вообще невесть что, вплоть — страшно молвить — до свободы научного и художественного творчества. Уж не на нее ли намекает неуправляемый романист, когда, постигая ученого Штрума, интеллигента, к тому же еврея, позволяет тому самонадеянно желать «слить воедино, соединить свою кабинетную работу с тем огромным делом, которое творилось на заводах, в шахтах, на стройках страны, создать тот мост, который соединил бы разрабатываемую им физическую теорию с благородным и тяжелым трудом, что творят миллионы рабочих»? Да ведомо ли зарвавшемуся сочинителю, как обличительно сказал в войну великий Сталин: «Враг не так силен, как изображают его некоторые перепуганные интеллигентики»?

Реконструируя таким чуть пародийным образом логику и аргументацию догматизма последней сталинской поры, можно допустить, что догматичная критика не была далека от истины, если испуганно разгадала, как художественная идея народной войны слабо увязывается с теорией и практикой вождизма. Понятие «культ личности» тогда, понятно, еще не бытовало, и позиция Василия Гроссмана, дерзнувшие

го поставить народ выше вождя, казалась тем более вызывающей, что ее антикультовская направленность конкретизировалась и персонифицировалась как антисталинская. Еще бы: разве некий «закон жизни и войны перестал» в Сталинграде действовать в пользу противника, а не твердая воля и мудрость Верховного круто повернули ход Великой Отечественной? И раз так, то к чему расписывать неудачи и поражения, предшествовавшие повороту к победе? Это наводит на мысль о допущенных перед войной и в начале войны ошибках, память о которых решительно отсекал сам Сталин.

**В. К. Василий Гроссман** первым из писателей средствами художественной прозы сначала — в романе «За правое дело» — наметил, а затем — в романе «Жизнь и судьба» — осуществил критический анализ истории Великой Отечественной войны и предшествовавшего ей периода советской истории. Первым осознал и показал взаимосвязанность двух народных трагедий — репрессий 30-х годов и отступления до Москвы и Сталинграда в 1941—1942 годах.

**В. О. Поэтому** роману «Жизнь и судьба», широко раздвинувшему границы эпического действия, помимо прежних пластов понадобились новые. Еврейское гетто на Украине, трагедия которого дана через восприятие Анны Семеновны Штрум, чей дневник предстал потрясающим человеческим документом, и жуткий — под музыку оркестра — палаческий обряд уничтожения евреев в кремационных печах в Германии. Фашистский концлагерь для советских военнопленных, где завершает свои дни Мостовской, и одна из точек «великой лагерной громады Дальстроя», где будет скорее всего убит уголовниками несгибаемый Абарчук и копчет с собой его давний друг, старший товарищ по партии Магар. Не подтекстовым намеком на полях сюжета, как было в «За правое дело», а сюжетным преломлением жизненного опыта, биографий и судеб некоторых персонажей входят в роман «год великого перелома» и вызванный им голод на опустошенной сплошной коллективизацией украинской земле, когда «тихий протяжный стон стоял над селом, живые скелетики, дети, ползали по полу, чуть слышно скулили; мужчины с налитыми водой ногами бродили по дворам, обессиленные голодной одышкой». Оказались нужны Ленин, «до последних своих дней» не знавший и не понимавший,

что его «дело... станет делом Сталина», и Сталин, единственный, кто «станет наследником Ленина» и всех, даже самых близких друзей и родных оттолкнет, «даже отгонит жену от ленинского наследства». Траурные мелодии январских дней 1924 года в Доме союзов и «звонящий голос Вышинского» в том же зале спустя немногим больше десяти лет. Процессы 1937—1938 годов, «кошмар моей жизни», как ужасается Штрум, и его надежда на то, что благодаря войне «эти страшные дела навсегда прекратились». Наивная, несбывшаяся надежда разделялась многими. По свидетельству Ильи Эренбурга в книге «Люди, годы, жизнь», почти то же говорила ему и Фадееву Ольга Берггольц в блокадном Ленинграде.

Любого из перечисленных мотивов было в 60-е годы с лихвой достаточно для того, чтобы роман «Жизнь и судьба» канул в безвестность: писатель шел дальше того, что дозволялось в «оттепельные» конец 50-х — начало 60-х годов, — дальше половинчатой реализации решений XX съезда КПСС. Повторю факт, не так давно приведенный вами в одной из статей, где вы вспоминаете, как сами слышали от начальника Главного политического управления Советской Армии и Военно-Морского Флота генерала А. А. Епишева: «Там, в «Новом мире», говорят, подавай им черный хлеб правды, а на кой черт она нам нужна, если она не выгодна». Красноречивей не скажешь. Так что нечего искать других объяснений тем чудовищным причинам, в силу которых роман Василия Гроссмана оказался не только ненапечатанным, но и изъятым. Слишком уж беспокоил, горчил черный хлеб его правды о замалчиваемой тогда подлинной истории войны, о преступлениях Сталина и растлевающем воздействии сталинизма на идеологию и психологию, нравственность и мораль, общественные отношения и бытовое поведение людей. Слишком стремительно опережала такая правда время, которое вело к застою, и потому пришлось ему не ко двору.

В. К. Явно не по времени волновал Василия Гроссмана вопрос, к которому он возвращается на протяжении всей диалогии: в чем причины неудач Красной Армии в 1941 году и выхода немецких войск к Волге в 1942 году. Неоднократно касался этого вопроса и Сталин в речах и приказах периода войны. Так, уже в речи 3 июля 1941 года он сказал, что причиной было то, что война фашист-

ской Германии против СССР началась при выгодных условиях для немецких войск и невыгодных для советских войск. Войска Германии, как страны ведущей войну, были целиком отмобилизованы, и 170 дивизий (в действительности их было 152), брошенных Германией против СССР, находились в полной боевой готовности, ожидая лишь сигнала для выступления, тогда как советским войскам предстояло еще отмобилизоваться и продвигаться к границам. Позже это было развернуто в целую теорию о роли внезапности как фактора, который дает определенные преимущества, хотя и временные, агрессору, создает в условиях ведения войны неравенство, которое жертва агрессии должна ликвидировать, чтобы открыть свободу проявлению таких постоянно действующих факторов, как прочность тыла, моральный дух армии, количество и качество дивизий, вооружение армии, организаторские способности начальствующего состава. 6 ноября 1941 года Сталин говорил о том, что наша армия и наш флот еще молоды, они воюют всего четыре месяца и еще не успели стать вполне кадровыми, тогда как перед собой имеют кадровый флот и кадровую армию немцев, ведущих войну уже два года. Наконец, суть неблагоприятных для Красной Армии условий и причины ее временных неудач были сведены Сталиным всего к двум моментам — к отсутствию второго фронта в Европе и недостатку у нас танков, отчасти авиации.

Теперь нетрудно заметить, что все это не вскрытие причин нашего отступления в начале войны. Сталин и не стремился вскрывать их. Он не считал нужным, чтобы вопрос о причинах отступления занимал умы людей, и по-особому объяснял их в стиле одного изgrossмановских персонажей — редактора Сагайдака: говорить правду, но не всю, а только ту ее частицу, которая должна была отвлечь внимание широкой общественности от истинных причин, от вины самого Сталина и его присных. Сотни и тысячи раз с комментариями и фактическими дополнениями были повторены различными органами печати и радио сталинские высказывания. Вскоре к этому хору присоединились и писатели. И тотчас, отмечает Василий Гроссман, «драматург Корнейчук объяснил в своей пьесе «Фронт», что неудачи войны были связаны с глупыми генералами, не умевшими выполнять указания Вышнего, никогда не ошибавшегося командования». Создание такой легенды было завершено еще в период войны, и

она прочно вошла в нашу научную и художественную литературу, в сознание людей. С нею мы и теперь встречаемся.

**В. О.** Любопытна явная перекличка «Жизни и судьбы» с другим произведением о войне. В нем речь тоже о «Фронте» Александра Корнейчука. Почему Сталин «при том, что критику и самокритику не очень любил, пьесу одобрил и в «Правде» велел напечатать?.. Потому, что из нее при желании можно и такую мораль вывести: во всем, что в сорок первом и сорок втором нам на головы посыпалось, Горловы виноваты, и никто, кроме них. За прошлое ответственность на них. Ни на ком другом. Им за это и на орехи!.. Далее Горловых заменяют Огневыми, и дело начинает идти лучше... А теперь вопрос: на что не отвечено в пьесе? Не отвечено, откуда Горлов. Почему и как стал командовать фронтом? На общем собрании выбрали, что ли?»

Это — из разговора Серпилина с другом, генерал-лейтенантом Иваном Алексеевичем в «сталинградском» романе Константина Симонова «Солдатами не рождаются». Знаменательная перекличка! К чести литературы свидетельствующая о том, что отнюдь не все писатели были склонны принимать на веру или разделять по убеждению облегченные, упрощенные сталинские версии. Правда, даже Василий Гроссман пришел к спору со Сталиным не сразу. Ему, как и многим другим, нужен был XX съезд партии, решения которого помогли взглянуть на войну и шире и глубже. В этом как раз самое существенное отличие «Жизни и судьбы» от романа «За правое дело», где досадным сбивам на «железную стойкость» и схожие лексические и стилевые банальности порой соответствует дежурная патетика обязательных для начала 50-х годов деклараций. О партии, организовавшей «военно-промышленную мощь страны». О героической работе «могучих оборонных предприятий... новых, дышащих пламенем заводов» среди снегов Сибири и Урала. О «единстве заводского труда с военной борьбой». Повторена и оспоренная вами сталинская цифра: 170 дивизий, загодя «продвинутые Гитлером к границам СССР». Есть, наконец, строки о Верховном Главнокомандующем, чье спокойствие — расхожий книжно-киношный штамп! — «основано на том, что он убежден в разумности миллионов людей, с которыми он говорит, к которым он обращается». И то благо, что так думает и рассуждает все же не писатель, а литературный герой — склон-



ный к самовнушенному энтузиазму и догматизму Крымов. Никуда, впрочем, не уйти от того общеизвестного факта, что при обсуждении романа «За правое дело» на секретариате правления СП СССР Александр Фадеев требовал от Василия Гроссмана куда большего — отдельной главы о Сталине.

В. К. Не удивительно, что в первой книге дилогии Василий Гроссман объяснял причины отступления Красной Армии, почти дословно повторяя приведенные выше высказывания Сталина. Ими навеяна мысль о том, что год работы на оборону, оборонительные бои, отступление «явилились той суровой школой, где народ и армия изживали ошибки, изживали робость, учились, где познавался враг». Вольно или невольно это подводит к выводу, будто ошибки, робость, несбученность и незнание врага народом и армией были главной причиной трагедии 1941 года. Не однажды говорят писатель о втором фронте, отсутствии которого воспользовался Гитлер для того, чтобы начать «осуществлять задуманный им прорыв на Восток». Можно согласиться: советские люди в первый год войны, в минуты наивысшего напряжения думали о втором фронте и ожидали его открытия. Но их ожидания также были навеяны выступлениями Сталина. При этом нельзя отрицать, что на фронте и в тылу надежды на избавление от нависшей над страной опасности возлагались на многое, в том числе и на открытие второго фронта англичанами и американцами. Вполне понятно, как подчеркнуто в романе «За правое дело», что «эти мысли основывались на естественном и казавшемся в ту пору логическом взгляде — ведь и камни не могли остаться равнодушными к великим жертвам и страданиям народа, отстаивавшего свою независимость и свободу на залитой кровью, горящей, истерзанной земле». С моральной точки зрения это — разумно и даже бесспорно. Но политика, а тем более военная стратегия не определяются морально-этическими соображениями. Для них главное — выгода и благоприятные условия для ее достижения. Руководителями США и Великобритании советско-германская война воспринималась только в одном плане: какую выгоду из нее можно извлечь. С этой точки зрения открытие союзниками второго фронта в Европе в 1942 году явилось бы чудом, но чудес, как известно, не бывает. Однако ожидание чуда играет немалую моральную роль, порождает надежды. И в

этом смысле идея второго фронта была далеко не бесперспективным ходом в игре такого игрока, каким был Сталин.

Не мог Василий Гроссман обойти и вопрос о причинах отступления Красной Армии к Волге в 1942 году. И здесь на первое место выставлено то, что против Советского Союза сражалось гораздо больше дивизий, немецких и их союзников, чем на русском фронте в первую мировую войну, что такое количество войск гитлеровское командование смогло бросить против Советского Союза только потому, что отсутствовал второй фронт в Европе. Все данные почерпнуты из доклада Сталина, сделанного 6 ноября 1942 года. В этом докладе он шел еще дальше в глубь истории и привел данные о численности армии Наполеона, вторгнувшейся в Россию и дошедшей до Москвы. Сам Сталин считал, что исторические параллели вещь ненадежная, их нельзя использовать для аргументации или исследования современных событий и явлений. Но на этот раз он отошел от своего же принципа, чтобы убедить советских людей в том, что отсутствие второго фронта в Европе позволило гитлеровскому командованию сосредоточить превосходящие Красную Армию вооруженные силы, развернуть наступление на южном участке советско-германского фронта. На основе такого рода доказательств он сделал вывод: «Вот где главная причина и основа тактических успехов немецко-фашистских войск на нашем фронте летом этого года».

В действительности дело обстояло далеко не так. По состоянию на 1 мая 1942 года немецко-фашистские войска и их союзники не имели значительного численного превосходства над Красной Армией. Соотношение сил между ними было примерно равным: численность нашей действующей армии составляла 5,5 млн. человек, в ее составе было 4065 танков и самоходных артиллерийских установок, 43 642 артиллерийских орудия и миномета, 3164 боевых самолета. Противостоящие силы фашистского блока насчитывали 6,2 млн. человек, 3 230 танков и самоходных орудий, 43 тыс. артиллерийских орудий и минометов, 3 400 боевых самолетов. Значит, причина успехов противника определялась не превосходством в силах, а тем, что Сталин вопреки мнению Генерального штаба, Г. К. Жукова, Б. М. Шапошникова и А. М. Василевского настоял на проведении нескольких наступательных операций. Генеральный штаб и Г. К. Жуков

предлагали выждать наступления немецких войск, измотать их в оборонительных боях, накопить за это время дополнительные силы и средства и затем перейти в наступление. Но решения принимал Сталин, а не они. В результате получилось все наоборот. Наступление наших войск на ленинградском фронте и в районе Демянска не достигло цели и было остановлено. Наступление Крымского фронта также не имело успеха, войска перешли к обороне и затем были полностью разгромлены на Керченском полуострове. Несколько позже немецкие войска захватили Севастополь, героически оборонявшийся в течение 250 дней, и, заняв весь Крым, высвободились для последующего наступления на южном направлении советско-германского фронта. Успешно начавшаяся операция войск Юго-Западного и Южного фронтов в районе Харькова завершилась тяжелым поражением почти трех армий, попавших в окружение и полностью разгромленных. «Гениальное» стратегическое решение привело к тому, что соотношение сил изменилось в пользу противника и сложились благоприятные условия для осуществления плана немецко-фашистского командования, предусматривавшего наступление на Кавказ и Сталинград. Об этом Сталин в своем докладе даже не упомянул.

В то время, когда Василий Гроссман писал первую книгу дилогии, открытых работ по истории Великой Отечественной войны, где обстоятельно исследовались бы все эти проблемы, еще не было. В ход шла популярная литература, прославлявшая Сталина. Бесспорная заслуга писателя в том, что он, будучи военным корреспондентом, наблюдал ту критическую обстановку, которая сложилась на южном крыле советско-германского фронта, трагическое развитие событий, переживания советских людей, их тяготы и лишения, подвиги и свершения на фронте и в тылу, и многое увидел зорче и распознал глубже своих современников.

Таким направлением творческого поиска Василий Гроссман шел и во второй книге дилогии, еще более углубляя начатое исследование войны, событий, которые определили ход сталинградской обороны и наступления. Герои романа «Жизнь и судьба» уже не довольствуются популярным, по Сталину, объяснением неудач Красной Армии в 1941 и 1942 годах, а пытаются разобраться в системе причин и следствий, взаимодействовавших в предвоенный период, то есть на

протяжении 30-х годов, выяснить, как они повлияли на подготовку страны к отражению агрессора и начало войны. Понимание этого приходит к ним через тяжелые раздумья, точнее — в процессе напряженных раздумий, где больше интуитивных догадок, чем твердых ответов, отрывочных суждений, а не стройных концепций. Так проявляется подлинный реализм повествования. Ко времени завершения романа «Жизнь и судьба» на многие вопросы, хотя далеко не на все, были даны ответы в решениях XX съезда КПСС, постановлении ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий», в ряде работ по истории Великой Отечественной войны и мемуарах ее участников. Но такие работы оставались еще единичными, в основной же массе книги и статей господствовали старые концепции активной обороны и контрнаступления. Писалось о гениальности планов преднамеренного отступления — до Москвы и Волги?! — и ответного сокрушающего наступления, повторялись приведенные выше разъяснения причин начальных поражений, утверждалось, что народ и армия хорошо подготовились к защите страны, но все испортила «внезапность» вражеского нападения, что с первых же дней управление фронтом и тылом было налажено «гениально». Фанфарное изображение начального периода войны, да и всей войны в целом заглушало другие взгляды, позиции. И замечательно, что Василий Гроссман сторонник искусства, которое не уводит человека от жизни, а соединяет с жизнью, не поддался оглушающим фанфарам, дал правдивое изображение войны, в том числе и причин нашего отступления к Волге и горам Кавказа.

В. О. Литературная ситуация 1960 года, когда Василий Гроссман закончил роман «Жизнь и судьба» и передал его для публикации тогдашнему руководству журнала «Знамя», требует корректив, указывающих на отличие ее от положения в исторической науке. Увы, и в литературе бытовали взгляды, которые один оратор, выступавший в очередной дискуссии, довел до абсурда. Отступление 1941—1942 годов, заявил он, ошеломив зал, было стратегическим заманиванием противника. Но, вспоминая сейчас тот рубеж 50—60-х годов, могу подчеркнуть со всей определенностью: фанфарное восприятие войны по типу романа Аркадия Первенцева «Честь смолоду» уходило в прошлое, хотя не сдава-

ло без боя своих замшелых позиций. В принципиальной борьбе с ним утверждалась новейшая военная проза, представленная повестями Григория Бакланова, Юрия Бондарева, Василя Быкова. Роману Василия Гроссмана она программно близка предельной погруженностью в трагедийную правду войны, включая, как укоряюще или осуждающе говорили тогда критики-проработчики, «окопную правду».

Писатели, представлявшие эту «новую волну» военной прозы, одним из ее предыстоков называли повесть Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда». С романом «Жизнь и судьба» она стыкуется особенно плотно. Не только в силу нередкой общности материала, вызвавшей сюжетно похожие сцены — например, первой разрушительной бомбежки Сталинграда, сразу превратившей его из тылового во фронтовой город, — но и сопредельности творческих позиций, эстетических ориентаций, реалистических принципов. Обосновывая их, Виктор Некрасов, воевавший, к слову напомнить, в районе тех самых баков, откуда, по роману Василия Гроссмана, текла на людей горящая нефть, так писал в очерковой книге «Первое знакомство» о проектируемой Вучетичем и вскоре сооруженной им панораме «Штурм Мамаева кургана»: «...поверьте мне, на самом деле было куда менее эффективно. Просто никакого штурма не было. Была изнурительная пятимесячная, стоизшая многих жизней борьба за баки, но штурма не было. Просто в ночь на 26 января немцы, вокруг которых сжималось кольцо окружения, тихонько ушли с Мамаева кургана и окопались за оврагом Долгим. А через пять дней капитулировали. Вот и все. Спрашивается: зачем нужно изображать то, чего не было? Героизм наших солдат был вовсе не в том, что они с развевающимися знаменами, с винтовками наперевес прорывались к бакам. Героизм их был в другом: они не подпустили немцев к Волге. Не хватало оружия, боеприпасов, танков, самолетов, не хватало людей — а это главное, — и все-таки непобедимая армия, покорившая всю Европу, прошедшая от Перемышля до Сталинграда, всю зиму протопталась у его стен и сдалась. Героизм был в буднях, в тяжелом солдатском труде, в умении не терять веру и самообладание в самые тяжелые минуты... Зачем же этот треск, эта фальшь? Для красоты? А нужна ли нам такая красота? И красота ли это?»

Не броские эффекты образцово-показательного боя под

трепещущими на ветру знаменами, а изо дня в день упорное сопротивление врагу и духовное превосходство над ним — будто не о своих однополчанах, а о героях «Жизни и судьбы» рассуждал Виктор Некрасов, хотя вряд ли подозревал в то время об их существовании в литературе. Ведь их «тайна великого сопротивления» и Василию Гроссману открывается через «сверхтяжесть ужасных боев», которые ведут немногие десятки красноармейцев, оставшихся «в истаявших сталинградских полках». Противник, поначалу значительно превосходящий их численно и по вооружению, не мог предположить, что «мощь его усилий расщепляется горстью людей... Солдаты, отбивавшие на волжском напоре дивизий Паулюса, были стратегами сталинградского наступления».

Если о повести «В окопах Сталинграда» уместно говорить как о частичном предвосхищении «Жизни и судьбы», то и в ней, в свою очередь, прослеживаются мотивы, которые предвосхищают созвучие романа некоторым последующим произведениям. Например, упомянутой трилогии Константина Симонова «Живые и мертвые», в чем мы могли удостовериться на одном частном примере. В том, что он вызван не случайным совпадением, а исходной близостью писательских взглядов на войну, понимания драм ее начального периода, убеждают редкие смысловые совпадения публицистических отступлений, в которых содержатся авторские оценки лета 1941 года и его значения в дальнейшем развитии событий.

В. К. Тоже сошлюсь на Константина Симонова. Его выводы о пагубных последствиях репрессий 1937—1938 годов, подорвавших готовность страны и Красной Армии к отражению немецко-фашистской агрессии, способность отразить ее в начале войны, об атмосфере, созданной в армии и советском обществе, высказывались в начале 60-х годов, но обнародованы были только в 1987 году. Такие же мысли высказывают и некоторые герои романа «Жизнь и судьба». Мадьяров, представляет писатель одного из них, «не оправдывал тех начдивов и комкоров, которых потом расстреливали как врагов народа и изменников родины, он не оправдывал Троцкого, но в его восхищении Криворучко, Дубовым, в том, как уважительно и просто называл он имена командиров и армейских комиссаров, истребленных в

1937 году, чувствовалось, он не верит, что маршалы Тухачевский, Блюхер, Егоров, командующий московским военным округом Муралов, командарм второго ранга Левандовский, Гамарник, Дыбенко, Бубнов, что первый заместитель Троцкого Склянский и Уншлихт были врагами народа и изменниками родины». После этих репрессий, говорил маршал Г. К. Жуков в беседе с Симоновым, «уровень боевой подготовки войск упал очень сильно. Мало того, что армия, начиная с полков, была в значительной мере обезглавлена, она была еще и разложена этими событиями. Наблюдалось страшное падение дисциплины, дело доходило до самовольных отлучек, до дезертирства. Многие командиры чувствовали себя растерянными, неспособными навести порядок».

Другая сторона последствий, оставленных репрессиями 30-х годов, затронута в сценах, которые разворачиваются в доме «шесть дробь один», принявшем на себя всю тяжесть сталинградских уличных боев. Капитан Греков, прозванный «управдомом», не таясь, говорил «о довоенных армейских делах с чистками, аттестациями, с блатом при получении квартир, говорил о некоторых людях, достигших генеральства в 1937 году, писавших десятки доносов и заявлений, разоблачавших мнимых врагов народа». Такого рода отношения никак не могли способствовать укреплению не только единства людей, но и его важнейшего элемента — дружбы. Той истинной дружбы, которая, по определению Василия Гроссмана, независима от положения людей в обществе или служебной иерархии, а «обращена к внутренним свойствам души и равнодушна к славе, внешней силе». Основа такой дружбы — «это вера в неизменность друга, это верность другу».

В. О. Сокровенный и вдохновенный лирический монолог о дружбе по сути своей глубоко полемичен, как вызов декретировавшемуся бездушию. В нем слышится страстный голос писателя-гуманиста в защиту духовности человека, его чести и достоинства, открытости, взаимной доверительности отношений между людьми и тех нравственных устоев, моральных норм общежития, которые принято называть первичными ценностями бытия. В том смысле первичными, что первоосновными, такими, без которых нет ни общественной нравственности, ни общественной морали. Идеология, психология, мораль, деформированные в атмо-

сфере сталинских репрессий, искажали как раз эти ценности, разрушали гуманистические основы человеческих взаимоотношений внутри общества. Не это ли исповедует в романе Крымов, не ведая, что творит, что внушает: «Христианский гуманизм в нашем деле не годится. Наш советский гуманизм суровый... Церемоний мы не знаем». Хорошо хоть, тут же спохватывается, подумав и вспомнив, что не имеет в виду случаев, когда «зазря расстреливали. И в тридцать седьмом, случалось, били по своим: в этих делах горе наше».

В. К. Насаждавшиеся репрессиями всеобщая подозрительность и взаимное недоверие между людьми, подавление гласности и открытости размывали корни единства, разлагали чувство дружбы. Это во-первых. А во-вторых, что также показано в романе, вместо репрессированных, хорошо подготовленных и обладавших военным опытом и навыками, выдвигались молодые кадры, преданные делу социализма, но не имеющие достаточных знаний. Среди выдвигавшихся было немало и таких, которые воспользовались кампанией борьбы с «врагами народа», писали доносы, клеветали на достойных людей, военных и гражданских, и таким путем строили свою карьеру. Форсированное превращение страны из аграрной в индустриальную само по себе вызвало массовый приток новых кадров в народное хозяйство, систему социального и политического управления, вооруженные силы. Репрессии еще больше увеличили этот приток. Естественно, выдвинутым людям не всегда хватало образованности, да и общей культуры. Их энтузиазм не заменял компетентности, профессионализма. Василий Гроссман мог и не знать того, что к началу войны только семь процентов командиров наших вооруженных сил имели высшее образование, а 37 процентов не прошли полного курса обучения даже в средних военно-учебных заведениях. Эти данные были опубликованы только во второй половине 60-х годов. Состояние командного состава Красной Армии, профессиональный уровень командиров в начале Великой Отечественной войны ухудшились еще и потому, что большинство из репрессированных военачальников хорошо знали немецкую военную организацию и военное искусство, а заменившие их кадры не обладали такими знаниями. Непосредственно перед войной, когда Красная Армия проводила пере-



вооружение и реорганизацию, ее командный состав по своей образованности и профессионализму был отброшен фактически на уровень конца гражданской войны, тогда как вторая мировая война, война новейшей для того времени техники, требовала от командиров высокого общего и профессионального образования, опыта и навыков руководства войсками в бою. Все это пришлось наверстывать в ходе войны ценой тяжелых потерь, моральных и материальных затрат.

Однако наблюдательность Василия Гроссмана, глубокий анализ событий позволили ему увидеть назвавшиеся проблемы и проследить их воздействие на ход военных событий. В этом отношении весьма меткими являются следующие раздумья полковника Новикова: «В этот счастливый день грузно подпало в нем зло на долгие годы прошедшей жизни, на ставшее для него законным положение, когда военно безграмотные ребята, привычные до власти, еды, ордепов, слушали его доклады, милостиво хлопотали о предоставлении ему комнатухи в доме начальствующего состава, выносили ему поощрения. Люди, не знавшие калибров артиллерии, не умевшие грамотно вслух прочесть чужой рукой для них написанную речь, путавшиеся в карте, говорившие вместо «процѣнт», «процент», «выдающий полководец», «Бѣрлин», всегда руководили им. Он им докладывал. Их малограмотность не зависела от рабочего происхождения, ведь и его отец был шахтером, дед был шахтером, брат был шахтером. Малограмотность, иногда казалось ему, являлась силой этих людей, она им заменяла образованность; его знания, правильная речь, интерес к книгам были его слабостью. Перед войной ему казалось, что у этих людей больше воли, веры, чем у него. Но война показала, что и это не так».

**В. О.** Вот нам еще одна «состыковка», сколь непредвиденная, столь же закономерная. Как и о других, о ней тоже «позаботилась» жизнь, действительность и самой войны, и предвоенного лихолетья. Война, вспоминал Василь Быков свое юношеское потрясение «очевидным несоответствием сущего и должного», с первых же дней заставила широко раскрыть глаза в изумлении... Невольно и неожиданно сплошь и рядом мы оказывались свидетелями того, что война срывала пышные покрывала, жизненные факты разрушали многие привычные и предвзятые представления. Любя-

тель громких и правильных фраз порой оказывался трусом. Недисциплинированный боец совершал подвиг...»

Такого рода «песоответствий» у Василия Гроссмана немало. Начиная с беглого — в романе «За правое дело» — упоминания Сережи Шапошникова о парне, которого не хотели принимать в летную школу «по социальному происхождению», а он все равно стал летчиком и «погиб, как Гастелло». Не так ли происходит в «Жизни и судьбе» с Грековым, геройски командовавшим людьми в окруженном немцами доме «шесть дробь один»? Как биографии защитников этого дома складываются в общую солдатскую судьбу, так их сталинградские «дни и ночи» сливаются в непрерывный подвиг, совершаемый на волоске от гибели. А о них судачат: «...не воинское подразделение, а какая-то Парижская коммуна» (дожили, как говорится: не в похвалу, оказывается, а в осуждение такое уподобление первым рабочим-коммунарам! Чем не пролетарский интернационализм по-сталински?). А их допекают штабными распоряжениями «ежедневно в девятнадцать ноль-ноль подробно отчитываться» (под непрекращающиеся немецкие атаки и обстрелы?) и в донесениях тайного «информатора» (осведомителя, доносчика в просторечии) пуще всего внимают не тому, как лихо воюет «управдом» в немыслимо тяжких условиях, а как «совсем распустился, — говорил бойцам черт знает какую ересь». И даже посылают в крамольное гнездо политработника Крымова не для того, чтобы придать свежих сил командиру и бойцам, а с чрезвычайными полномочиями «навести там большевистский порядок, стать там боевым комиссаром, а в случае чего отстранить этого самого Грекова, взять на себя командование...». Но и тут еще не апофеоз бездушная бдительных блюстителей воинской «морали». «Повезло (!) этому нашему орлу Грекову... убит при немецком наступлении на Тракторный, погиб вместе со всем своим отрядом», — сообщает полковой комиссар из фронтового политуправления Крымову, на основании его доносительской докладной задерживая посмертное представление погибшего к званию Героя. И тут же, словно в утешение Крымову, обманувшемуся в своей подозрительности, добавляет, «понизив голос», что, по сведениям начальника Особого отдела, Греков, «возможно, жив. Мог перейти на сторону противника». Ну, не кощунство ли?

**В. К.** Многие в таком реальном положении дел объясняет фигура Гетманова, первого секретаря одной из оккупированных немцами областей Украины, назначенного комиссаром танкового корпуса к полковнику Новикову. Выразительную характеристику дает писатель этому персонажу. Его сила партийного руководителя не требовала ни таланта, ни дарования. «Она оказывалась над талантом, над дарованием. Руководящее, решающее слово Гетманова слушали сотни людей, обладающих даром исследования, пения, писания книг, хотя Гетманов не только не умел петь, играть на рояле, создавать театральные постановки, но и не умел со вкусом и глубиной понимать произведения науки, поэзии, музыки, живописи...». Его биография бедна внешними событиями: он не был подпольщиком, не участвовал в гражданской войне, но вскоре после 1937 года сделался, «как говорили, — хозяином области», и «таким количеством власти, каким обладал он, секретарь областной партийной организации, вряд ли мог обладать народный трибун, мыслитель». Биография, типичная для выдвиженцев, номенклатурных работников 30-х годов.

Как и среди новых военных кадров, сменивших репрессированных, в среде этих выдвиженцев, отмечает писатель, тоже сложился свой тип руководителей — партийных деятелей, которые пришли «на смену партиям, ликвидированным либо отстраненным и оттесненным в 1937 году». Коминтерновец Крымов видит в них людей «иного, чем он, склада. Они читали иные книги и по-иному читали их, не читали, а «прорабатывали». Они любили и ценили материальные блага жизни, революционная жертвенность была им чужда либо не лежала в основе их характера. Они не знали иностранных языков, любили в себе свое русское нутро и по-русски говорили неправильно... Среди них были умные люди, но, казалось, главная, трудовая сила их не в идее, не в разуме, а в деловых способностях и хитрости, в мешанской трезвости взглядов».

**В. О.** Страшный человек этот Гетманов. Одни «ледяные глаза» его чего стоят. И фрондерские якобы шутки, безобидные для него, но опасно провоцирующие собеседника: «Наше счастье, что немцы мужику за год опробовали больше, чем коммунисты за двадцать пять лет». В чем-то он даже более страшный, чем прителествующий с

ним — два сапога пара — «энтузиаст тридцать седьмого года» генерал Неудобнов, начальник штаба в том же танковом корпусе, которым командует Новиков. Как выясняется, Неудобнов вел «дело» Даренского, допрашивал и избивал его на следствии. Гетманов зубов никому вроде бы не выбивал, но судьбы человеческие, включая близких ему людей, наверняка крушил нещадно, ибо «необходимость жертвовать людьми ради дела всегда казалась ему естественной, неоспоримой не только во время войны». Приведу еще одну развернутую характеристику — того, как он понимал «интересы партии» и в чем видел «дух партийности»:

«Духом партийности, интересами партии должны были проникаться его решения в любых обстоятельствах... Духом партийности должно быть проникнуто отношение руководителя к делу, к книге, к картине, и поэтому, как ни трудно это, он должен не колеблясь отказаться от привычного дела, от любимой книги, если интересы партии приходят в противоречие с его личными симпатиями. Но Гетманов знал: существовала более высокая степень партийности: ее суть была в том, что человек вообще не имеет ни склонностей, ни симпатий, могущих вступать в противоречие с духом партийности, — все близкое и дорогое для партийного руководителя потому и близко ему, потому только и дорого ему, что оно выражает дух партийности. Подчас жестокости, суровы были жертвы, которые приносил Гетманов во имя духа партийности. Тут уж нет ни земляков, ни учителей, которым с юности обязан многим, тут уж не должно считаться ни с любовью, ни с жалостью. Здесь не должны тревожить такие слова, как «отвернулся», «не поддержал», «погубил», «предал»... Но дух партийности проявляется в том, что жертва как раз-то и не нужна — не нужна потому, что личные чувства — любовь, дружба, землячество — естественно, не могут сохраняться, если они противоречат духу партийности».

Не знаю, как с исторической, научной точки зрения, а с житейской, нравственной слышатся здесь интонации, да что интонации — концепции! — нечаевского<sup>1</sup> «Катехизиса

---

<sup>1</sup> Нечаев С. Г. (1847—1882) — русский революционер, придерживавшийся крайних, экстремистских взглядов и методов борьбы, мистификаций и провокаций. Нечаевщина была осуждена Первым Интернационалом, отвергнута русскими революционерами.

революционера». Ведь там тоже декларирована была новая нравственность, а по Марксу и Энгельсу — крайняя безнравственность революционера, образцом которому служил... разбойник. В самом деле: «Все нежные, изнеживающие чувства родства, дружбы, любви, благодарности должны быть задавлены в нем единою холодной страстью революционного дела... Природа настоящего революционера исключает всякий романтизм, всякую чувствительность, восторженность и увлечение; она исключает даже личную ненависть и мщение. Революционная страсть, став в нем обыденностью, ежеминутностью, должна соединяться с холодным расчетом. Всегда и везде он должен быть не то, к чему его побуждают влечения личные, а то что предписывает ему общий интерес революции». Самостоятельный оригинал и ухудшенная копия — таким видится соотношение между революционностью реального Нечаева и партийностью вымышленного Гетманова. Но в одном ли Гетманове проблема?

От разлагающего проникновения «иезуитской морали» нечаевщины не защищено даже антифашистское подполье советских военнопленных, действующее в исключительных условиях гитлеровского концлагеря, «где анкетные обстоятельства пали, ...не значили ни высокие звания, ни ордена, ни спецчасть, ни первый отдел, ни управление кадров, ни аттестационные комиссии, ни звонок из райкома, ни мнение зама по политической части». Так наивно полагает майор Ершов, приступая к созданию подполья. Но, сам претендуя на руководство, бригадный комиссар Осипов как раз ему-то и выражает политическое недоверие: «объективка... совсем плохонькая: кулачок, озлоблен репрессиями», хотя допускает возможность «использовать на известных этапах подобных людей», разумеется, «постольку поскольку» и «до поры до времени». Снова «от людей ничего... не остается, одна бдительность», — настораживается старый большевик-ленинец Мостовской, симпатизируя Ершову.

Немыслимым да и безнравственным выглядит состязание честолюбивых претензий на лидерство там, где на жестком счету каждый «чудный парень» — честный, мужественный, сопротивляющийся фашизму человек. Но Осипов, «суровый, непоколебимый, уверенный в своей железной правоте, в своем страшном, большем, чем божьем, праве ставить дело, которому он служит, высшим судьей над судьба-

ми людей», мало того, что отталкивает, не допускает к борьбе отважного, пользующегося заслуженным авторитетом воина. Инспирированное комиссаром «единогласное решение коммунистов» отлучает беспартийного Ершова от борьбы и обрекает его на верную гибель. Перед этим пасует, с этим смиряется и Мостовской. Не потому ли, что ему не впервой молчать? «Он ни разу не выступал, защищая людей, в чьей революционной чести был уверен», — вспоминает, мучаясь противоречиями, Крымов своего старшего друга, наставника и учителя. Но не парализовавшим обоих страхом объясняется его собственное молчание, а тем, что «революционная цель освобождала во имя морали от морали, она оправдывала именем будущего сегодняшних фарисеев, доносчиков, лицемеров, она объясняла, почему человеку во имя счастья народа должно толкать в яму невинных. Эта сила именем революции позволяла отворачиваться от детей, чьи родители попали в лагеря. Она объясняла, почему революция хочет, чтобы жену, не доносившую на своего ни в чем не виноватого мужа, следовало оторвать от детей и поместить на десять лет в концентрационный лагерь».

Нет нужды уточнять: не революция ответственна за извращения своей социальной сущности, духовные деформации своей гуманистической природы. Но разве не вездесущ в них призрак нечаящины?

Где-то мелькнуло: Сталин якобы благоволил к Нечаеву, особо интересовался этой фигурой. Не берусь судить, так оно или не так, да и не в том суть — было, не было. Иезуитизм от революции никогда не называет себя своим собственным именем, и поэтому вовсе не обязательно обосновывать его теоретически, чтобы следовать в политической практике.

В. К. Хуже того. Такое понимание «революционности» наряду с другими обстоятельствами, с одной стороны, оправдывало жестокость в отношениях между руководителями и подчиненными, между людьми. Во имя достижения поставленной цели можно было не считаться с жертвами и потерями жизней и в мирное и в особенности в военное время. «Лес рубят — щепки летят». Может быть, отчасти и поэтому мы за каждого убитого противника клали трех-четырех своих людей. С другой стороны, оно нашло выражение в системе жесткого и вместе с тем жестокого уч-

равления и контроля за поведением людей на фронте и в тылу. Следствием этого было то, что сталинская бюрократия сковывала инициативу, творчество во всех областях жизни и деятельности советского общества. Она требовала безропотного подчинения, точного выполнения распоряжений и приказов, которые не могли эффективно выполняться без инициативы и творчества, свободы мышления и действия. Но это противоречило бы духу бюрократического централизма. Тот же Гетманов, к примеру, признает и в душе разделяет разумность решения Новикова задержать ввод в действие танкового корпуса, чтобы подавить ожившие после авиационной и артиллерийской подготовки батареи противника. Он бурно высказывает восхищение тем, что полковник, проявив силу воли, выдержку, заставил ждать не только Толбухина, Еременко, а и самого Сталина, но ввел корпус в прорыв, «не потеряв ни одной машины, ни одного человека». И тут же сочиняет на него донос, который не считает нужным скрывать от Неудобнова: «Я написал, товарищ генерал, письмо о том, как командир корпуса самолично задержал на восемь минут начало решающей операции величайшего значения, операции, определяющей судьбу Великой Отечественной войны». Аналогичное положение в науке, искусстве. Ученый Штрум жалуется близким «на незаконные аресты, на отсутствие свободы, на то, что любой не шибко грамотный начальник с партийным билетом считает своим правом командовать учеными, писателями, ставить им отметки, поучать их».

**В. О.** Трагедии, которые происходят на фронте с Грековым, а в фашистском концлагере с Ершовым, тем главным образом и вызваны, что оба — яркие, сильные, самостоятельно мыслящие личности. В этом их притягательная сила. Но поэтому они выламываются из системы, не поддаются обезличивающей стандартизации.

**В. К.** Централизация должна иметь свой авторитетный центр, а для этого необходимо было заставить всех людей поверить в рациональность системы и сверхъестественную силу, гениальность человека, стоящего над ней. Неважно, кто этот человек, каковы его способности, массы должны воспринимать его как гения. Жестокость контроля, карательные меры и репрессии, с одной стороны, а с другой — прославление гениальности и всемогущества вождя,

который, напоминает писатель, ни до революции, ни после все не занимал центрального положения в партии, не был знаменит как теоретик, но оказался «спасителем дела партии, носителем истины». Этим создали атмосферу, в которой люди информированные и понимающие предпочитали молчать, пассивно подчиняться чужой воле, думать одно, а говорить другое. Так, Крымов сомневался в том, что Бухарин диверсант, убийца, провокатор, но при голосовании поднял руку за вынесенный приговор, а после и подпись свою поставил.

**В. О.** Когда спустя время жизнь самого Крымова, «войдя в папку со шнурками», потеряет объем, протяженность, пропорции и все в ней станет «темно и безумно», сольется «в какую-то серую, клейкую вермишель», следовательно даст ему прочесть показания на немецкого товарища. «Дрянновато, — аттестует их Крымов. — У человека нет смелости прямо заявить, что Гаккен честный коммунист, и ему не хватает подлости обвинить его, вот он и выкручивается». Под показаниями пятилетней давности окажется его, Крымова, подпись, но он не сразу узнал написанное собственной рукой. Очень похоже на трифоновского Летунова из романа «Старик»: тот тоже забыл, как более полувека назад «на вопрос следователя, допускает ли он возможность участия Мигулина в контрреволюционном восстании, ответил искренне: «Допускаю»...» Поразительная психологическая деталь, показывающая, какой неправой ценой удается — не ахти как и надолго в обоих случаях — «самому не попасть в трясину, отстраниться». Забывчивость избирательна: человек не вспоминает о том, о чем вспоминать не хочет, за что может стать неловко или стыдно. Но и отторгнутые памятью нравственные компромиссы с тем в мире внешнем, к чему не лежит, чего не принимает душа, и с неусыпленной совестью в мире внутреннем все равно не спасают от тревожных сомнений, которые не становятся легче оттого, что одолевают человека наедине с собой. Так по крайней мере у Крымова.

**В. К.** Ни в чем не сомневаются чиновники. Они казенными, холодными словами говорят от имени государства о процентах выполнения, о поставках, об обязательствах. Люди же сомневавшиеся, подобно Крымову, идут с ними «нога в ногу», признают их, как старших. В утешение



говорят себе: «Ничего не поделаешь, революции так нужно». А «революция» не остается в долгу, она «за верность себе, за верность великой цели платила сытными пайками, кремлевским обедом, наркомовскими пакетами, персональными машинами, путевками в Барвиху, международными вагонами».

В романе бюрократизм показан в самых различных проявлениях, но в основе их всех — общность типологическая. Как говорит один из героев, «главный корешок бюрократизма» в том, что «рабочий страдает в своем государстве». Сила бюрократизма, рассуждает Штрум, «имеет в себе две противоположности — она способна остановить любое движение, но она же может придать движению невиданное ускорение, хоть вылетай за пределы земного тяготения».

Несмотря на противоречивый характер бюрократизма, его способность что-то ускорить, организовать, запустить в движение, что-то сдвинуть, сломать, сокрушить и воздвигнуть, создать, Василий Гроссман подводит читателя к выводу, что «бюрократизм и бюрократы... помогли нам докатиться» до Волги и Кавказа. В другом месте эта мысль высказывается путем отрицания. Соколов говорит Штруму об их чаепитиях в Казани: «Мне все неприятней вспоминать о наших разговорах той поры. От подавленности мы пытались объяснить временные военные трудности какими-то вымышленными пороками советской жизни. Все, что ставилось в минус советскому государству, оказалось его преимуществом».

В романе четко проводится мысль, что важнейшим проявлением народного характера Великой Отечественной войны явилось сплочение советских людей перед лицом врага, единство советского народа. Вместе с тем война выявила также препятствия, которые мешали оптимальной реализации этого единства в действиях армии на фронте и в работе «единого и всеобъемлющего тыла», в который, по словам Сталина, превратилась наша страна.

Процесс формирования источников победы над фашизмом был сложным. Возникали серьезные противоречия, определявшиеся объективными и субъективными условиями, для разрешения которых нередко применялись методы и средства, по своей природе более подходящие для разрешения антагонистических конфликтов. Разветвленная система ад-

министрирования, охватившая все сферы партийного, государственного и общественного управления, волевые решения и командно-бюрократические методы достигли наиболее полного выражения в утверждении культа личности Сталина, в установлении его фактического единовластия. Порочность этой системы проявилась прежде всего в том, что она внедрялась и затем функционировала путем широкого, неограниченного применения карательных мер и массовых репрессий. В результате вполне разумная классовая бдительность выродилась во всеобщую подозрительность, исчезла гласность, искусственно нагнеталась напряженность, распространялась шпиономания, везде стали мерещиться массовые измены и заговоры, получил распространение термин «враг народа». При помощи фальсифицированных документов и необоснованных обвинений многие люди попали в категорию «врагов народа», вредителей, агентов иностранных разведок. Борьба против «врагов народа» приняла характер массовой кампании, охватившей всю страну. Участие в этой кампании всячески поддерживалось и поощрялось. В частности, степень и активность участия в ней командиров и политработников Красной Армии отмечались в их аттестациях и ставились им в заслугу. Поощрялись доносы и даже наветы. Всем этим нагнетался страх. Откровенность суждений и высказываний исчезла, в особенности по общественно-политическим и военным вопросам. Люди, среди которых были и видные военные специалисты, осмелившиеся высказаться критически о поражениях нашей армии в начале войны и причинах, приведших к ним, попадали в разряд пораженцев и подвергались репрессиям.

Такая морально-психологическая атмосфера, сложившаяся к началу войны, нашла отражение в романе «За правое дело» — в описании семейного праздника, устроенного в военные дни 1942 года в доме Шапошниковых. Хозяева и гости встревожены тем, что немецкие войска приближаются к Дону, но все еще не хотят поверить в опасность для них, для Сталинграда. Многие уверены, что противник получит отпор на Дону, хотя в разговоре и проскальзывает опасение: как бы не пришлось эвакуироваться дальше на Восток. Притча Мостовского об Антее и анти-Антее, о том, что первый с каждым шагом по земле становится сильнее, а второй не питается силой земли, «враждебная ему земля забирает его

силы, и он копчает тем, что падает, его валят», вызывает всеобщее одобрение и поднимает настроение. Но и в таком разговоре проявляется не столько скромность, сколько осторожность. Рабочий Андреев сказал угрюмо: «На Дон идет, Украину всю прошел, пол-России прошел», а на вопрос Мостовского — «Что же вы считаете?» ответил: «Считать не полагается, ...что вижу, то и говорю, а считают другие люди, может быть, поумней меня».

В другом разговоре, в другом кругу людей формула «что вижу, то и говорю» уже не годилась. Так, даже в родственном Гетманову кругу «близких» людей не только не говорят друг с другом откровенно и искренне, но боятся проговориться, о чем думают. И когда брат хозяйки упомянул о том, что сын Сталина Яков попал в плен, это вызвало злое молчание: «Он заговорил о том, о чем не следовало упоминать ни в шутку, ни всерьез, о чем полагалось молчать. Вздумай кто-либо возмутиться слухами об отношениях Иосифа Виссарионовича с женой, этот искренний опровергатель слухов совершил бы не меньшую оплошность, чем распространитель слухов, — самый разговор был недопустим». Недопустимо, следовательно, говорить о том, что было, что очевидно. И хотя Машук знал, что «пустой, оплошный случай забудется, но знал, что забудется он не до конца», что его могут припомнить ему при назначении на более ответственную должность. Из дальнейшего повествования явствует, что такое отсутствие искренности и откровенности не является случайным. Оно воспитывалось годами. «Особенно хорошо разбирался в таких делах» редактор республиканской газеты Сагайдак. «Ему казалось, что его редакторская сила, опыт, умение и выражались в том, что он умел доводить до сознания читателей нужные, служащие воспитательной цели взгляды. Когда во время проведения сплошной коллективизации возникли грубые перегибы, Сагайдак до появления статьи Сталина «Головокружение от успехов» писал, что голод в период сплошной коллективизации произошел оттого, что кулаки назло закапывали зерно, назло не ели хлеба и от этого опухали, назло государству умирали целыми деревнями, с малыми ребятами, стариками и старухами. И тут же помещал материал о том, что в колхозных яслях детей ежедневно кормят куриным бульоном, пирожками и рисовыми котлетами. А дети сохли и опухали».

**В. О. В** «элитарном» кругу Гетманова существует какая-то особая система морали и этики, действуют непривычные, непостижимые нормальным человеческим рассудком «простых смертных» регуляторы поведения. Ну, скажем, заговорили за обильным не по войне столом о детях. Один из гостей, менее высокопоставленный, «тоже мог рассказать о своих детях много смешного и веселого, но он знал, что ему не положено рассказывать о сметливости своих ребят, когда говорят о сметливости сагайдаковского Игоря и гетмановских дочерей». Василий Гроссман — мастер психологической детали. Приведенная — из таких, мастеровских. Зорко подмеченная и неброско выделенная, она вызывает удивление и улыбку. Но в других случаях — не до списходительных улыбок.

**В. К.** Особенно, когда подозрительность в отношении всех и вся именуется бдительностью. Гетманов еще не встречался с командиром танкового корпуса полковником Новиковым, к которому назначен комиссаром, но уже узнал, что тот намеревается жениться на бывшей жене Крымова Евгении Николаевне. Последний для компании Гетманова «загибщик», «неясный», «понатыкано у него связей и с правыми и с троцкистами с самых давних времен», хотя он и работал в Коминтерне. Не знают они и женщины, на которой собирается жениться комкор, но Гетманов уже сделал вывод: «Подобиться, что этот мой комкор женится на совершенно чуждом человеке». Позднее, когда Новиков в запальчивости упоминает об услышанном от Евгении Николаевны, что Троцкий сказал о статье Крымова «мраморно написана», Гетманов использует это и против Новикова, и против Крымова. Недоверие к Новикову, не выходящее из «номенклатуры», в конечном счете завершилось отстранением его от командования танковым корпусом, несмотря на проявленные им способности и блестяще проведенную операцию. Командиром корпуса назначен генерал Неудобнов, не имевший военного опыта и образования, но зато прошедший школу Берии.

Война, ее тяготы и лишения, с одной стороны, все больше обнажали общественные противоречия, а с другой — усиливали стремление разобраться в обстановке, в окружающих противоречиях. Люди в блокированном противником доме «шесть дробь один» хотят доказать не только себе и то-

варищам, но и врагу, что «с прелестью жизни никогда не справятся могучие истребительные силы». В перерывах между боями они смело осуждают наркомвнудельцев, погубивших десятки тысяч невинных людей, с болью говорят о бедствиях и мучениях, выпавших крестьянству в период сплошной коллективизации, пытаются представить себе будущее, за которое хотели бы воевать. Высказанная комиссаром Крымовым похвала и приведенная при этом фраза Суворова «Русские прусских всегда били» вызвали у них насмешку. Для них дело борьбы не сводилось только к тому, чтобы «немцев преодолеть», а командир Греков был твердо уверен в том, что «нельзя человеком руководить, как овцой». На вопрос комиссара, чего он хочет, Греков отвечает: «Свободы хочу, за нее и воюю».

**В. О.** Показательна в этом отношении переключка двух нестандартно мыслящих героев — Грекова и Ершова. Их пути-дороги в романе не пересекаются, но думают оба об одном. Грекова в обороняемом доме беспокоит, как — по «принудилровке» или нет — пойдут дела после войны. Ершов, создавая антифашистское подполье в концлагере, ясно сознает, что «борясь с немцами, он борется за свободную русскую жизнь, победа над Гитлером станет победой и над теми лагерями смерти, где погибли его мать, сестры, отец». На редкость точная духовная реалья времени: война пробудила надежды на лучшее будущее после победы, на то, что победители, доказав преданность родине, социализму, окупили право на доверие власти и внимание вождя. Отсюда — естественные «равенство и достоинство» на сталинградском «политом кровью глинистом откосе. Интерес к послевоенному устройству колхозов, к будущим отношениям между великими народами и правительствами был в Сталинграде почти всеобщим... все, казалось, имело прямое отношение к послевоенной жизни народа, других народов и государств. Почти все верили, что добро победит в войне и честные люди, не жалевшие своей крови, смогут строить хорошую, справедливую жизнь. Эту трогательную веру высказывали люди, считавшие, что им-то самим вряд ли удастся дожить до мирного времени, ежедневно удивлявшиеся тому, что прожили на земле от утра до вечера».

**В. К.** Те же вопросы обсуждаются учеными в эвакуации — на квартире физика Соколова. Они говорят

о том, как советская история решительным образом переписывалась, создавалось новое прошлое, по-своему вновь двигалась конница, назначались новые герои уже свершившихся событий, а подлинные увольнялись, изменялось положение фигур на документальных фотографиях. Даже живые свидетели тех времен по-новому переживали свою уже прожитую жизнь, превращали самих себя из храбрецов в трусов, из революционеров в агентов империализма. Высказывалась мысль, что погубленные люди дрались бы с фашизмом беззаветно, не жалея крови. И что государственно-бюрократическое сознание не учитывает интересов человека, созданная система противопоставляет государство и личность, превращает их в полярные, непримиримые противоположности. Инициатива людей подавляется нещадно, если она не совпадает с намеченными планами. «...Продукция нужна соседям-казанцам, я по плану должен везти ее в Читу, а потом из Читы ее обратно в Казань доставят. Мне нужны монтажники, а у меня не исчерпан кредит на детские ясли, провожу монтажников, как няnek в детские ясли. Централизация задушила! Изобретатель предложил директору выпускать полторы тысячи деталей вместо двухсот, директор погнал его в шею: план-то он выполняет в весовом выражении, так спокойней. И если у него остановится вся работа, а недостающий материал можно купить на базаре за тридцатку, он лучше потерпит убыток в два миллиона, но не рискнет купить материал на тридцатку». Малы заработки рабочих, а «руководство, директора, наркоматы знают одно — давай план! Ходи опухший, голодный, а план давай». Профсоюз же молчит. Вместо того чтобы защищать интересы тружеников, «призывает к жертвам: до войны идет подготовка к войне, во время войны все для фронта, а после войны профсоюз призывает ликвидировать последствия войны. Где уж тут стариком заниматься». Штрум вспомнил о том, что «изжившая себя буржуазная демократия в Финляндии столкнулась в сороковом году с нашим централизмом, и мы попали в сильную конфузию». Мадьяров, предприняв экскурс в историю, заключил, что «русский человек за тысячу лет всего посмотрелся — и величия, и сверхвеличия, но одного он не увидел — демократии». А в демократической стране человек должен знать обо всем, что происходит, сам об этом судить, а не довольствоваться официальной пропагандой.

**В. О.** Одним словом, демократические мечтания. Но в них вызов всему тому, что мы впоследствии назовем культом личности, режимом личной власти. И правда в том, что такого рода мечтания действительно всколыхнулись на гребне войны. Воскрешая их, Василий Гроссман безукоризненно историчен. На что уж Крымов склонен у него к догматизму, но и он, вспоминая «довоенные занятия в университете марксизма-ленинизма», где «и ему, и его слушателям было смертно скучно штудировать, как катехизис, «Краткий курс истории партии», признает эту скуку законной и неизбежной лишь в мирное время, — в войну же, в Сталинграде, она «стала челепа, бессмысленна».

Не ахти какие вольности допускает Крымов в мыслях, как и Штрум, Мадьяров и другие за скудным чаепитием у Соколова, но и в них угадывается тот неоскудевающий «вольный дух гражданства», который в самые тяжелые времена оставался неистребленным и неистребимым до конца ни в народном сознании вообще, ни в умах интеллигенции в особенности.

Но в этом мотиве, развитом в романе, важна еще такая грань: и сам Сталин, и его ближайшие идеологи Маленков, Жданов, Щербаков углядели в умонастроениях интеллигенции спасную для бюрократизированной, административно-командной системы крамолу и не преминули напомнить, что в их грозной власти продолжать культивировать в строптивцах «нарастающий ужас перед истребительной силой государственного гнева», отнять у любого из них «не только свободу, покой, но и ум, талант, веру в себя, превратить его в тусклого, тупого, унылого обывателя». Предел, жестко положенный вольномыслию, призван был вновь, как в предвоенные годы, погрузить интеллигенцию в казавшееся привычным для нее и любезное властям состояние, о безвыходности которого воскликнет Штрум, вернувшись из эвакуации в Москву: «Дышать нечем». Он говорит так, зная об аресте генетика Четверикова, но не подозревая, что в дальнейшем назидание ему и таким, как он, уже замыслен разгром для того и изданной книги Константина Федина «Горький среди нас». На очереди Анна Ахматова и Михаил Зощенко, Сергей Эйзенштейн и Александр Довженко, Дмитрий Шостакович и Сергей Прокофьев, биологи и философы. Как ни конкретизированы эти и другие удары первых послевоенных лет, у них

был и обобщенный сокрушаемый адресат: научная и художественная мысль, порывившая вырваться из узды, выйти из повиновения. Это, к слову, подтверждает и К. Симонов в книге размышлений о Сталине «Глазами человека моего поколения».

**В. К.** Остро проблемный разговор ученых о социализме и демократии, о правде и фальсификациях советской истории, о положении науки и искусства занял всего три небольших главы — чуть больше десяти журнальных страниц. Но конструктивные идеи, содержащиеся на этих страницах, образуют эпицентр романа. То, что писатель не смог развить в первой книге, он щедро осветил во второй. Василий Гроссман убедительно показал, что культ личности и командно-бюрократическая система приносят вред социалистическому обществу, тормозят его развитие тем, что игнорируют потребности и интересы человека, сковывают его инициативу, подавляют дух творчества. Иными словами, те проблемы, которые поставлены на повестку дня перестройкой, полностью созрели еще в довоенное время, война резко их высветила. Но командно-бюрократическая система сделала все от нее зависящее, чтобы, не говоря уже о годах войны, не допустить их разрешения не только перед войной, но и после победы, во второй половине 40-х — первой половине 50-х годов. Более того, она подавила попытку приступить к их разрешению и во второй половине 50-х — первой половине 60-х годов, а затем не допускала даже мысли о возможности их разрешения еще полных двадцать лет.

**В. О.** А в результате нам приходится разгребать сложные и острые проблемы, которые объявлялись раз навсегда решенными, а на самом деле, накапливаясь десятилетиями, сплетались в такие тугие узлы, что развязать их сегодня не легко и не просто. Едко да метко, как это присуще его таланту, о генезисе некоторых из них сказал Ион Друцэ на «круглом столе» журнала «Коммунист» «Идеологические проблемы перестройки»: «Вот Сталин. Загадочная личность. У него такая манера: то он всплывает, то опять оседает на дно... Теперь он опять всплывает. А вы знаете, мне кажется, что появление Иосифа Виссарионовича всегда связано с нашим приближением к кардинальнейшим вопросам жизни. В той степени, в какой мы приближаемся, в той степени и начинает появляться Иосиф Виссарионович.



Потому что определенная кривизна дома, в котором мы живем, появилась в фундаменте в те десятилетия, что связаны с его именем. Уж мы клеили свой дом обоями, уж мы штукатурили, но кривизна дает себя знать... Как только доходим до гласности и начинаем говорить все обо всем — вдруг появляется Иосиф Виссарионович. Значит, что-то не так. Как только возникают определенные национальные проблемы, снова появляется Иосиф Виссарионович. Опять что-то не так. Нам нужно, по-моему, не обсуждать национальные проблемы, а обсудить основы той национальной политики, которая была заложена Иосифом Виссарионовичем и которая приводит к эксцессам сейчас и может привести в будущем. Нам нужно всем миром обсудить и найти приемлемые для всех нас правила общежития в нашем государстве». Думается, Василий Гроссман шел по этому пути...

**В. К.** В романе «Жизнь и судьба» отдано много внимания вопросам национальных и интернациональных, патриотических и революционных традиций, их роли и значения в войне. Проблема сложная, противоречивая. «Сталинград, сталинградское наступление способствовали новому самосознанию армии и населения. Советские, русские люди по-новому стали принимать самих себя, по-новому стали относиться к людям разных национальностей». Писатель указывает на стихийность этого процесса, результаты которого только после почти полного его завершения были использованы в целях проводившейся тогда политики. «Логика развития привела к тому, что народная война, достигнув своего высшего пафоса во время сталинградской обороны, именно в этот сталинградский период дала возможность Сталину открыто декларировать идеологию государственного национализма».

**В. О.** Иначе говоря, и эту проблему Василий Гроссман толкует в антисталинском духе. Но не однажды и не в давнем прошлом, а в наше время доводилось слышать и читать, будто историческая заслуга Сталина в годы войны заключалась в том, что, проникательно разгадав, какие неисчерпаемые духовные резервы таит в себе национальная идея, он вывел ее на нестесненный простор, всколыхнул, оживил, активизировал национальное патриотическое самосознание, превратил его в мощный, действенный фактор борьбы и победы.

**В. К.** Действительно, война, связанную с нею жертвы, потери, трудности заставили задуматься всех людей над своей судьбой, над судьбой Отечества, лучше почувствовать и понять национальные традиции, осознать свою роль в происходящих событиях и ответственность за будущее страны, населяющих ее народов. Такими свойствами воздействия на общественное сознание обладают все существенные, коренные повороты в историческом развитии. Применительно к советским народам Василий Гроссман называет «три грандиозных события» истории, которые «были краеугольными камнями нового переосмысления жизни и человеческих отношений: коллективизация деревни, индустриализация, 1937 год». Они произвели большие сдвиги, но последствия их не были таковыми, какими стали под влиянием войны. Индустриализация, «взятая» штурмом, постепенно втянула в создание и развитие социалистической промышленности все народы, населявшие страну. Но методы штурма быстро себя исчерпали и сохранение их уже во второй половине 30-х годов вылилось в утверждение административно-командной системы управления всей хозяйственной и социально-политической жизнью страны. Насильственная коллективизация необратимо обернулась массовой высылкой крестьян, зачисленных в кулаки, произволом и беззаконием, репрессиями, которые писатель объединил одной датой «1937 год», хотя все это возникло задолго до 1937 года и продолжалось в последующие довоенные и послевоенные годы. Такие методы, созданная ими обстановка в стране никак не способствовали развитию самосознания масс на основе революционных традиций, точнее, совершенствованию революционного самосознания.

В этом проявилось внутреннее противоречие событий. Можно согласиться с Василием Гроссманом, что они «знаменовали экономическое торжество строителей нового советского государства, социализма в одной стране». Но нельзя признать правильным, что эти действия, возглавляемые Сталиным, «явились логическим результатом Октябрьской революции». И индустриализация, и коллективизация — действительно логическое следствие развития революции, но методы и, естественно, последствия их, а тем более массовые репрессии, административно-командное управление, бюрократизм — это уже результат не революции, не социализ-

ма, а деформации, фактически прервавшей процесс развития революционного самосознания трудящихся. Бурное развитие страны, всеобщее образование в таких условиях способствовали росту общественного самосознания, но оно стихийно шло в сторону развития и углубления самосознания национального, а не революционного, социалистического. Разумеется, этот процесс не следует упрощать — он шел сложными и противоречивыми путями, но неизменно в отмеченном направлении.

Правильно указано в романе «Жизнь и судьба» на то, что в пору коллективизации и индустриализации возник «новый уклад» и произошла почти полная смена руководящих кадров. Теперь хорошо известно, что все это случилось в годы между XVII и XVIII съездами партии и впрямую сказалось на составе их делегатов. Так, на XVII съезде делегаты с правом решающего голоса, которые вступили в партию до 1920 года и были, таким образом, живыми носителями ее революционных традиций, составляли 80 процентов, а вступившие в 1929 году и позже — только 2,6 процента. На XVIII съезде среди делегатов с правом решающего голоса вступившие в партию до 1917 года составили 2,4 процента, с 1917. по 1920 год — 17 процентов, а вступившие в 1929 году и позже — 43 процента. Вместе с вступившими в партию между 1920 и 1929 годами они составили 80,6 процента. Следовательно, тон на съезде задавали уже другие члены партии, пришедшие в нее после гражданской войны. Из лидеров партии, входивших в ее руководящее ядро, возглавляемое В. И. Лениным, остался один Сталин. Это наложило отпечаток на «новый уклад», о котором размышляет писатель, на его идеологию. Этот «новый уклад» «не захотел отказываться от старых идейных формул и представлений, хотя они утратили для него живое содержание. Новый уклад пользовался старыми представлениями и фразеологией, берущими свое начало еще из дореволюционного становления большевистского крыла социал-демократической партии. Основой же нового уклада являлся его государственно-национальный характер».

В. О. Стало быть, произошло перерождение многих сторон революции, включая демократизм социалистического народовластия? «Тысячу лет Россия была страной неограниченного самодержавия и самовластия, страной ца-

рей и временщиков. Но не было за тысячу лет русской истории власти, подобной сталинской»... Разрушительный этот процесс захватил, не мог не захватить умы и души людей, что, естественно, становится для писателя главным объектом социального исследования действительности, психологического анализа человека. Склоним молча головы перед Мостовским, сильным и мужественным человеком, чей тяжкий и скорбный путь достоин сопереживания и сострадания. Но забудем ли его соглашательское, охранительское «цель оправдала средства» — о «гайках», жестоко закрученных до войны? Он не с соизником генералом Гудзем, который и общенародную беду, и собственную участь военнопленного объясняет единственно тем, что «мало подкрутили... Еще крепче надо бы, тогда бы до Волги не дошел». Но и не с майором Ершовым, на себе и своих близких познавшим, что значил этот тугой закрут. Согласимся: не ко времени вспоминать о канувшем на Лубянке Крымове, «какой он был жестокий», как «не жалел... крестьян во время коллективизации». Но простим ли ему вулканические выплески «фанатизма, равнодушия к судьбе репрессированных, злобы, с которой он говорил о кулаках», как прощает жена, вернувшаяся к оставленному мужу в роковые для него дни, чтоб по примеру декабристок или народниц вместе нести выпавший крест? Ведь Крымова поглотила машина, которую он сам запускал и раскручивал, сполна выдала ему все, что уготовила другим. Удар «кулаком по морде» — лишь первый оборот маховика. Но не то привычное потрясает в романе, что «коммуниста, избитого на допросе коммунистом», обрекают «терять себя», словно это не он «встречал своего друга Георгия Димитрова, ...нес гроб Клары Цеткин». Больше всего потрясает, что, ненавидя избившего его особиста, «в человеке, топтавшем его, Крымов узнавал не чужака, а себя же... Это чувство близости поистине было ужасно».

Узнавал, сдается, не без оснований. Разве не такую в точности участь готовил он Грекову своей докладной, которую отнюдь не считал ложной, ибо писал ее по праву «действовать мечом диктатуры»? Зло не перестает быть таковым от того, что чинится по убеждению, а иногда даже из благих намерений, и в ответ порождает все ту же цепную реакцию зла, в силу которой поднявший меч от него, как правило, и погибает. Вот и в романе — крепко, видно, за-

пало в память иных его героев сталинское определение большевистской партии как ордена меченосцев — меч, поднятый Крымовым на чужую голову, опускается на свою же. Горькая и постыдная правда — «Ведь он доносчик... не угробила бы Грекова немецкая бомба, его бы расстреляли перед строем командиров» — открывается Крымову, когда он «ясно понял, насколько страшны дела, творящиеся на Лубянке».

Так собственное несчастье открывает глаза на общенародную драму, подводит Крымова к беспощадным сомнениям: «Да, вообще-то на социализм не очень похоже все это. Для чего моей партии нужно меня уничтожить? Ведь революцию мы совершали — не Маленков, не Жданов, не Щербаков. Все мы были беспощадны к врагам революции. Почему же революция беспощадна к нам? А может быть, потому и беспощадна. А может быть, не революция...»

В финале романа многое останется сюжетно невыявленным. Александра Владимировна Шапошникова, видя, какой «неустроенной, запутанной и неясной, полной сомнений, горя, ошибок» складывается жизнь ее близких, томится неведением едва ли не о каждом из них. «Как жить Людмиле? Чем кончится разлад в ее семье? Что с Сережей? Жив ли он? Как трудно жить Виктору Штруму. Что будет с Верой и Степаном Федоровичем? Сумеет ли Степан вновь построить жизнь, найдет ли покой? Какая дорога предстоит Наде, умной, доброй и недоброй? А Вера? Согнется в одиночестве, в нужде, житейских тяготах? Что будет с Женей, поедет ли она в Сибирь за Крымовым, сама ли окажется в лагере, погибнет так же, как погиб Дмитрий? Простит ли Сереже государство его безвинно погибших в лагере мать и отца?» Продолжая тревожный перечень, включим в него и то, что нам не дано будет узнать, к каким выводам придет Крымов, всерьез задумавшийся о судьбах своей и всеобщей. Его предшественник Абарчук, чья «вера была непоколебима... преданность партии — беспредельна», вопреки всему, что познал в лагерях и на этапах, в арестантских эшелонах и паровозных трюмах, бежал от похожих раздумий в самовнушение: все равно «зря не сажают», с ним ошиблись, «остальные репрессированы за дело, — меч правосудия пскарил врагов революции». Магара, подумавшегося до «мы ошиблись», это привело к самоубийству. Два крайних полюса. Какой из них станет Крымову ближе?

Вживаясь в то, что произошло с ним в разгар сталинградского сражения, невольно отдаешь дань недоумения утилитаризму: не безрассудно ли лишать армию волевого, смелого, деятельного политработника? Разве Крымов прячется от войны или делает на войне свое дело не с полной самоотдачей? Но теперь мы знаем, что в самые трудные для Москвы октябрьские дни 1941 года были расстреляны арестованные перед войной командующий ВВС Рычагов, главный инспектор ВВС Смушкевич, командующий ПВО Штерн, заместитель наркома обороны, командующий Прибалтийским округом Локтионов — всего двадцать человек высшего командного состава. В первую блокадную зиму в Ленинграде арестовали и уничтожили группу ученых, работавших на оборону города. И обвиняемых за самооговоры, и «свидетелей», дававших нужные показания, поощряли 150 граммами хлеба — на это находились лимиты, отобранные у умирающего населения... Нож в спину народу — не назвать иначе преступные акции, из исторической реальности которых исходил Василий Гроссман, повествуя о беззаконии, учиненном по отношению к герою романа. Исторически реально и то, что коминтерновский интернационализм Крымова скорее волевыми усилиями холодного ума, чем произвольными порывами живого чувства принимает истину, которую установочно внушает политическая пропаганда в войсках: «Война, поднявшая громаду национальных сил, была войной за революцию». Поэтому в том, что и он, Крымов, «заговорил о Суворове, не было измены революции». Так ли?

В. К. Сначала еще об одном «лубянском» суждении Крымова, когда после перенесенных пыток ему «уже не казались невероятными сводившие с ума признания Бухарина и Рыкова, Каменева и Зиновьева, процесс троцкистов, право-левацких центров, судьба Бубнова, Муралова, Шляпникова. С живого тела революции сдиралась кожа, в нее хотело рядиться новое время, а кровавое живое мясо, дымившиеся внутренности пролетарской революции шли на свалку, новое время не нуждалось в них».

Нельзя признать правильным, будто «время не нуждалось» в революционном содержании. Именно оно проявилось в индустриализации, коллективизации, всеобщем образовании, социальном строительстве, межнациональных отношениях, интернационализме. Но особенностью времени было

то, что решались эти проблемы в условиях «ограниченной» демократии, подмены ее жестким администрированием, директивным, командным управлением. Время нуждалось в сохранении и умножении революционных завоеваний и ценностей, главные из которых — свобода, равноправие, демократия. Без этого невозможно нормальное развитие социализма, невозможно избежать его деформаций. Но административная система, утяжеленная культом личности, вступала в противоречие с революционными традициями и определяющими тенденциями развития социализма. Не «время не нуждалось» в революционном содержании, а административная система, культ личности в целях самосохранения и укрепления своего господства с безрассудной жестокостью разрушали революционные традиции, репрессирова и физически уничтожая их носителей. И вместе с тем эта система — опять противоречие! — не могла сохранить и укрепить свою власть, не используя революционную фразеологию, не натягивая на себя «шкуру революции». Но все это, конечно, не было «логическим результатом» Октябрьской революции, построения социализма в одной стране, как неверно и то, будто «дело Ленина дало Сталина». Развитие социализма шло куда более сложным путем, и то, что Октябрьская революция положила начало социалистическим преобразованиям, не означает, будто административная система и культ личности являются ее следствием. Дело Ленина не могло «дать» Сталина. Причины совсем иные, не связанные с Октябрем и Лениным, не связанные с социализмом.

Логическим является другое, связанное не с социализмом, а с его деформациями. Речь идет о моральных и социально-политических мотивах, традициях как рычагах, средствах активизации людей в борьбе против фашистских захватчиков. К этому вопросу Василий Гроссман неоднократно возвращался на протяжении всего повествования. Но, излагая содержание речи Сталина на параде Красной Армии 7 ноября 1941 года, он сосредоточил внимание на одном вопросе: на том, что «дух великого Ленина» вдохновлял советских людей на войну против интервентов в 1918 году и что «дух великого Ленина и его победоносное знамя» вдохновляют их на Отечественную войну. При этом опущены основные призывы речи: «Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков — Александра

Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина!»

Здесь Сталин обращался не к революционным, а к национальным традициям русского народа, и не столько к самим традициям, сколько к образам великих людей России, к ряду которых добавил еще и «дух великого Ленина». Нельзя исключать, что утверждение русских военных традиций на примерах великих полководцев прошлого более доходчиво для масс народа. Однако это не меняет того, что такой постановкой вопроса принимались и изымались революционные, интернациональные традиции, сложившиеся в борьбе за социализм, прогресс и национальную независимость. Уничтожение людей, которые воплощали их, в ходе массовых репрессий 30-х годов не могло не бросить тень и на традиции. Выдающиеся полководцы гражданской войны — Тухачевский, Егоров, Блюхер, Ковтюх, Федько — не могли вдохновлять советских воинов, так как были объявлены врагами народа, шпионами и диверсантами. Выдающиеся военные деятели М. В. Фрунзе, С. С. Каменев умерли своей смертью, не дожив до периода репрессий, но первого затенял миф о Сталине как великом полководце, а второго посмертно тоже причислили к «врагам народа».

В силу всего сказанного в речах и приказах Сталина периода Великой Отечественной войны, а вслед за ними и во всей нашей пропаганде того времени упор делался не на реальные революционные традиции, а на мифы, распространившиеся в 30-е годы под влиянием культа личности. Например, миф о разгроме «наголову» немецких захватчиков под Псковом и Нарвой 23 февраля 1948 года, о сталинском плане разгрома Деникина, о роли Сталина в организации обороны Царицына и многие другие. Конечно, и мифы играют определенную роль в мобилизации людей на борьбу, но по своей эффективности никак не могут сравниться с реальными традициями.

Закономерно поэтому, что тот же Крымов у Василия Гроссмана «не любил, когда политические работники славли старых русских полководцев, его революционному духу претили ссылки в статьях «Красной звезды» на Драгомирова, ему казалась ненужным введение орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого. Революция есть революция,



ее армии нужно одно лишь знамя — красное». Конечно, это крайнее суждение: обращение к национальным традициям также было необходимым. В другой раз Крымов увидел, что «сталинградский подвиг сродни революционной борьбе русских рабочих», так как и Отечественная война тоже идет за революцию. Иными словами, прогрессивные национальные традиции приобретают оптимальную силу воздействия на массы, если они выступают в единстве с революционными традициями. Подмена реальных революционных, прогрессивных национальных традиций мифами и сусальными образами великих предков не была и не могла быть лучшим выходом из положения. Она также свидетельствовала о неспособности административно-командной системы управления полностью реализовать в процессе решения задач защиты социалистической Родины огромный моральный потенциал исторических традиций, национальных и революционных.

Затронута Василием Гроссманом и такая сторона проблемы, как великодержавные представления о ходе истории. В романе «Жизнь и судьба» писатель указывает на отрицательные последствия возвышения одной нации над другими: так сказалась на практике сталинская концепция автономизации, которую резко критиковал Ленин, полагая, что основу решения национального вопроса составляет принцип национальной независимости и равенства всех народов. Выделение народа «избранника» в содружестве равных, независимо от того, большой это народ или малый, противопоставляет его другим народам, мешает их интернациональному сотрудничеству. Одним из проявлений такой политики в решении национального вопроса были подозрительность и недоверие к представителям других национальностей и даже к целым народам. В результате — осуществленные в период войны депортации цыган Поволжья, калмыков, затем крымских татар и малых народов Северного Кавказа.

Характерно, как создается одна из конфликтных ситуаций в танковом корпусе полковника Новикова. Вопреки мнению командира Гетманов и Неудобнов проводят назначение на одну из командных должностей менее подготовленного Сазонова, а не хорошо знающего дело Басангова. Только потому, что Басангов — калмык. Вроде бы и нет против него возражений, но есть соображения: «...замкомандира второй бригады, полковник — армянин, начальник штаба у него

будет калмык, добавьте — в третьей бригаде начальником штаба подполковник Лифшиц. Может быть, мы без калмыка обойдемся?».

**В. О.** Как подумаешь, что это вещает Гетманов, бывший и будущий секретарь обкома на Украине, а потом, глядишь, и ЦК — жутко становится при мысли о том, сколько и каких он дров наломает, каким разнузданным великодержавным шовинизмом обернется его идеологическое руководство. И от дружбы народов его «тошнит», поскольку ради нее — расхожие черносотенные пересуды о «нацменах» — «всегда мы жертвуем русскими людьми... Хватит». И не что-нибудь — «партийное чутье» подсказывает ему, что национальный признак — читай: пятый пункт в анкетах — «это большое дело. Определяющее значение будет иметь...»

**В. К.** В споре о Басангове Гетманова тут же поддерживает Неудобнов. Высказываясь за «предпочтение... русскому человеку», он поучающе повторяет великодержавную аргументацию, которая явно ориентирована на сталинский произвол: «Дружба народов — святое дело, но, понимаете, большой процент среди националов — враждебно настроенных, шатких, неясных людей... В наше время большевик прежде всего — русский патриот».

Столь же характерен эпизод в лагере военнопленных. И «властитель дум» майор Ершов, и бригадный комиссар Осипов, ведавший на фронте политическим воспитанием большого соединения, совершенно равнодушно отнеслись к сообщению о роспуске Коминтерна. А генерал Гудзь — так тот вообще заявил, что только «через ваше интернациональное воспитание... драп начался, надо было в патриотическом духе воспитывать народ, в русском духе». Советский патриотизм отождествляется с «русским духом» и тем противопоставляется патриотизму других наций.

Через суждения и поступки героев романа Василий Гроссман раскрывает свою основную идею: «Национальное сознание проявляется как могучая и прекрасная сила в дни народных бедствий. Народное национальное сознание в такую пору прекрасно, потому что оно человечно, а не потому, что оно национально. Это — человеческое достоинство, человеческая верность свободе, человеческая вера в добро, проявляющиеся в форме национального сознания».

Советский Союз пришел к победе над фашизмом благодаря дружбе и сотрудничеству всех народов нашей страны. Социализм по сути своей способствует укреплению в человеке его гражданских достоинств, верности свободе, веры в добро. Поэтому и рост национального сознания в годы войны не мог объективно вызывать чувства национальной вражды, национального недоверия. Наоборот, он стимулировал заинтересованность всех народов в укреплении дружбы и сотрудничества, единства и сплоченности перед лицом угрозы фашистского порабощения. Попытки же возвысить один народ над другим, выделить его из общего содружества наций противоречили самому характеру войны как войны народной. К нашему счастью, такие попытки в то время не были решительными и всеобщими.

**В. О.** В противоречивых уроках народной истории, постигаемых романом «Жизнь и судьба», — выход к урокам творческим, которые имели для Василия Гроссмана и эстетическое, и нравственное значение: «В России у великого писателя нет права травить инородцев». Само собой разумеется, что нет у него и права быть антисемитом. «...С царских времен антисемитизм связан с квасным патриотизмом людей из «Союза Михаила Архангела».

**В. К.** Экстремальные условия и тяготы войны, как, впрочем, и мирной жизни, заставляют людей думать о своем положении, искать выход из кризисов, а это всегда связано с переоценкой ценностей и изменением поведения. Так «солдаты и офицеры окруженных армий переоценивают не только силы сражающихся войск, перспективы войны, но и политику государства, обаяние партийных вождей, кодексы, конституцию, национальный характер, грядущее и прошлое народа». Штрум у Василия Гроссмана оказался как бы в таком положении окруженных.

**В. О.** Тем острее и напряженнее его и писательские раздумья, об антисемитизме — о пламени костров в «самые ужасные времена истории», о разноликих индивидуальных и массовых, бытовых и общественных проявлениях на многообразных уровнях «мировой политической, экономической, идеологической, религиозной жизни». И на том вышем, если так можно сказать уровне, достигнув которого в условиях тоталитарных политических образований, антисемитизм становится государственным по официально-

му статуту и истребительным по существу своего жизненного содержания.

Ужасаясь «поголовному истреблению огромных слоев еврейского населения» фашизмом в соответствии с его социальными и расовыми теориями, писатель искал объяснения тому, что «не десятки тысяч и даже не десятки миллионов людей, а гигантские массы были покорными свидетелями уничтожения невинных. Но не только покорными свидетелями: когда велели, голосовали за уничтожение, гулом голосов выражали одобрение массовым убийствам. В этой огромной покорности людей открылось нечто неожиданное... О чем говорит она? О новой черте, внезапно возникшей, появившейся в природе человека? Нет — эта покорность говорит о новой ужасной силе, воздействовавшей на людей. Сверхнасилие тоталитарных социальных систем оказалось способным парализовать на целых континентах человеческий дух». Апатия души, смирившейся с антисемитизмом как раз на гребне расистского разгула фашизма, — не есть ли это тревожный симптом возможной парализации духа? Василий Гроссман ставил перед собой и читателями предельные вопросы и раздумья о них доводил тоже до крайнего предела.

Так происходит в одной из ключевых сцен, где сходятся Мостовской и Лисс. Последний, не без оснований претендуя на роль философа и идеолога национал-социализма, безуспешно провоцирует собеседника на спор вовсе не отвлеchenно теоретического характера: о сопредельности, подобии, типологическом тождестве тоталитарных форм, «единой сущности — партийного государства». Мостовской отказывается принимать вызов и не сразу находит в себе силы для поединка не только с противником, но и с самим собой. «Слова опытного эсэсовского провокатора» пробуждают в его душе «гадкие и грязные сомнения», и чтобы разрешить или хотя бы подавить их, недостаточно «оттолкнуть Лисса» — нужно большее: «Не осудить, а всей силой души, всей революционной страстью своей ненавидеть лагерь, Лубянку, кровавого Ежова, Ягоду, Берию! Но мало, — Сталина, его диктатуру!»

Крайнее заострение художественной мысли, доведенной, как отмечалось, до предела? Или вообще «край пропасти», как думает отчаявшийся Мостовской? Он «видел: Лисс объединял все темное, а мусорные ямы одинаково пахнут, все

обломки, щепа, битый кирпич одинаковы. Не в мусоре нужно искать существо различия и сходства, а в замысле строителя, в его мысли». Но куда все-таки девать мусор? И списать ли на него немецких коммунистов, которых — каждый по своим лагерям — посадили рейхсфюрер Гиммлер и нарком Ежов? Отрицать подобное — все равно что объявлять сталинские репрессии лучшими в мире потому только, что они наши.

Между прочим, сам Сталин нисколько не смущался тем, что поставлял аргументы в пользу Лисса. Вспомнить его и Жданова телеграмму о допустимости пыток в органах НКВД; в ней была апелляция к аналогичной практике в гестаповских застенках, деликатно названных буржуазными тюрьмами. По той же логике рассуждают и теми же приемами оперируют нынешние адвокаты сталинизма. Скажем, полковник Филатов в газете «Красная звезда»: обосновывая надобность в заградительных отрядах, он исходит из того, что таковые «имелись и в других армиях. Немцы, например, ввели их у себя раньше, чем мы. Они создали их сразу после сокрушительного поражения под Москвой. И только ценою этих заградотрядов, а еще — офицерских штрафных батальонов и солдатских штрафных рот им удалось приостановить бегство своих войск после удара под Москвой».

**В. К.** У нас заградотряды были введены в августе 1941 года...

**В. О.** Не уже найденные истины, а их напряженные искания определяют у Василия Гроссмана структуру и поэтику повествования. Не снятие противоречий, а их обнажение. Не однозначные «за» и «против» в оценке тех или иных явлений, событий, а настойчивое стремление раскрыть их в единстве противоположностей. Ибо «часть правды — это не правда».

Так и правда Сталинграда не исчерпывается какой-либо одной только частью, не существует вне всех частей, взятых вместе, сложенных воедино. Говоря иначе, Гроссман и на этот раз не был бы Гроссманом, если б, выявляя историческое значение Сталинградской победы, не сказал и о том, что для Сталина с нею «пришел час его силы». В этот час решалась судьба пемцев-военнопленных, которые пойдут в Сибирь. Решалась судьба советских военнопленных в гитле-

ровских лагерях, которым воля Сталина определила разделить после освобождения сибирскую судьбу немецких пленных. Решалась судьба калмыков и крымских татар, балкарцев и чеченцев, волей Сталина вывезенных в Сибирь и Казахстан, потерявших право помнить свою историю, учить своих детей на родном языке. Решалась судьба Михоэлса и его друга актера Зускина, писателей Бергельсона, Маркиша, Фефера, Квитко, Нусинова, чья казнь должна была предшествовать зловещему процессу евреев-врачей, возглавляемых профессором Вовси. Решалась судьба спасенных Советской Армией евреев, над которыми в десятую годовщину народной Сталинградской победы Сталин поднял вырванный из рук Гитлера меч уничтожения).

**В. К.** Продолжая ту же мысль в другом месте, писатель называет Сталинград тем часом торжества Сталина, который принес ему победу «не только над живым врагом. Это был час его победы над прошлым. Гуще станет трава над деревенскими могилами тридцатого года. Лед, снеговые холмы Заполярья сохраняют спокойную немоту». Проследим же в ключе сказанного за некоторыми мотивами сюжета. Гетманова отзывают из корпуса и назначают первым секретарем обкома освобожденной области Украины. Там он применит выработанные и утвердившиеся еще до войны методы административно-командного руководства. Ведь он — их живой и активный носитель. Неудобнов становится командиром танкового корпуса, а Новиков вызван в Москву, судьба его неизвестна. От Крымова хотят добиться признания в измене Родине и шпионаже в пользу врага. Спиридонов, возглавлявший Сталгрэс и приложивший вместе с коллективом рабочих, техников, инженеров нечеловеческие усилия, чтобы снабжать электроэнергией предприятия и командные пункты даже в период самых ожесточенных боев за город, снят за надуманную провинность с работы и направлен на Урал руководить районной электростанцией.

**В. О.** Чуть дальше о тех сталинградских рабочих, которым предстоит поднимать город из руин: «...Сталин говорил в позапрошлом году: братья и сестры... А тут, когда немцев разбили, — директору коттедж, без доклада не входить, а братья и сестры в землянки»... В порядке реплики на полях — о том, как беззастенчиво он своих братьев и сестер обманывал. В первой речи 3 июля 1941

года заявил, что «лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации уже разбиты и нашли себе могилу на полях сражений». В докладе к 24-й годовщине Октября назвав цифру: 378 тысяч человек, пропавших без вести, в то время как число советских военнопленных в 1941 году составило 3,9 миллиона человек, из которых к началу 1942 года в живых оставались 1,1 миллиона. В речи на параде Красной Армии 7 ноября 1941 года заверил, будто, не в пример немцам, «у нас нет серьезной нехватки ни в продовольствии, ни в вооружении, ни в обмундировании». А в приказе № 227 все летние неудачи 1942 года списал не на свои ошибки, а на отсутствие «порядка и дисциплины в ротах, батальонах, полках, дивизиях, в танковых частях, в авиаэскадрильях»...

**В. К.** Не легче, чем в Сталинграде, складываются дела у тех героев романа, которые живут в Москве. Всемирно признанный Ченыжид вынужденно оставляет директорство в институте, и на его место приходит неавторитетный ученый, для которого важна не наука, а исполнение указаний молодого заведующего отделом науки ЦК Бадьина, имеющего за собой одно преимущество: он близкий родственник человека из высшего руководства партии. В своей деятельности Бадьин ставит идеологию, точнее, псевдоидеологию над наукой и добивается чистки научных институтов от людей «подозрительных» и ненадежных по национальным и прочим признакам.

**В. О.** «Так называемая теория относительности» — его слова. Кажется, даже доподлинные. Так что в «юноше студенческого возраста», вознесенном рукой собственного отца и всемогущей рукой «отца народов» на высокую должность, узнается лицо реальное. То, которое в конце позорной сессии ВАСХНИЛ письмом в «Правду» преподает разгромленным генетикам наглядный урок публичного самобичевания. А в наши дни станет прозрачно зашифрованным Инкогнито, к которому обращена полемическая статья Юрия Карякина «Стоит ли наступать на грабли?»...

**В. К.** В романе на его счету сначала палки в колеса работе Штрума, потом травля и самого ученого. К счастью для Штрума, он совершил открытие в области ядерной энергетики, от разработки которой в послевоенные годы напрямую будет зависеть обороноспособность страны. Благодаря этому Штрум удостоился телефонного звонка Сталина,

который пожелал ему успешного продолжения работы. Но и это не принесло желанной свободы. Вскоре Штрума вынудят подписать письмо, в котором содержатся лживые обвинения против врачей Плетнева и Левина.

**В. О.** «Диалектика души» — привычно говорим мы о человековедческих открытиях в русской классике. Право, не боязно сопоставить с ними взлеты и падения героя Василия Гроссмана. Штрум был стоек в гонениях, не сломившись, выдержал травлю, отказался от покаянного признания ошибок, которым мог облегчить свое безвыходное положение. И не выдержал испытания успехом, не выстоял под напором признания. Диагноз, который он ставит себе после этого, суров, но верен: «Одно время после сталинского телефонного звонка ему казалось, что страх полностью ушел из его жизни. Но оказалось, страх все же продолжался, он только стал иным, не плебейским, а барским — страх ездил в машине, звонил по кремлевской вертушке, но он остался».

**В. К.** Казалось бы, победа в Сталинградской битве давала возможность завершить роман в мажорных тонах. Но он заканчивается грустью по умершим и все еще не проснувшейся радости весны. Этим писатель выражает свое предчувствие, что на смену непродолжительной оттепели придет торжество бюрократии и консерватизма и заморозит прогресс еще на долгих двадцать лет.

**В. О.** Обратимся для точности к тексту. Действительно, невысказанной печалью полна природа, живописанием которой завершается «Жизнь и судьба», и «в ее безязыкой немоте слышался вопль об умерших и яростная радость жизни». Так что грусть грустью, но не без просвета. Оно и понятно: свершилась победа, которая предвосхищает окончательный разгром фашизма, а это событие эпохальное, всемирно-историческое, знаменующее возрождение человека. Ибо «фашизм отказался от понятия отдельной индивидуальности, от понятия «человек» и оперирует огромными совокупностями». Ибо «фашизм и человек не могут сосуществовать. Когда побеждает фашизм, перестает существовать человек. Остаются лишь внутренние преображенные, человекообразные существа. Но когда побеждает человек, наделенный разумом и добротой, фашизм погибает и смирившиеся вновь становятся людьми».

Суровый, трезвый реалист, Василий Гроссман знает, что



фашизм, умея пригибать человека до своего уровня, способен превратить мать в детоубийцу, обречь жертву на готовность переносить «любое страдание, лишь бы существовать». В галерее не живущих, а существующих находятся и прямые участники его преступлений, и механические исполнители их, не понявшие вовремя, что «человеку, желающему оставаться человеком, случается выбор более легкий, чем спасенная жизнь, — смерть». Однако таких лиц и фигур в романе немного, и это объясняется не избирательностью, а концептуальностью писательского взгляда на действительность войны. Ее народный характер сверх всего выражается и в том, что сталинградская победа означает не уничтожение, не истребление врага, что сулил фашизм советским людям, а начало «очеловечивания жизни многих десятков миллионов немцев после десятилетия тотальной бесчеловечности!». Так мысль народная проникается антифашистским пафосом повествования, который, в свою очередь, сливается с пафосом гуманистическим. На их художественном единство покоится социальный оптимизм истории, который при всем ее драматизме определяет плеинно-правственное звучание романа как эпоса народной войны.

## ЭПОС ВОЙНЫ НАРОДНОЙ

(Диалог о романе Василия Гроссмана «Жизнь и судьба»)

Гл. отраслевой редактор В. П. Демьянов

Редактор Н. М. Краснопольская

Мл. редактор О. А. Васильева

Худож. редактор М. А. Гусева

Техн. редактор А. М. Красавина

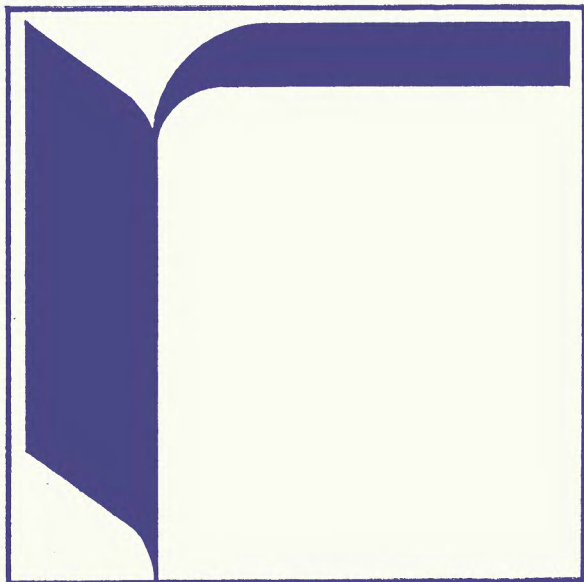
Корректор Е. И. Альшевская

ИБ № 9660

Сдано в набор 22.08.88. Подписано к печати 13.10.88. А 13840. Формат бумаги 70×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага тип. № 1.2. Гарнитура обыкновенная. Печать высокая. Усл. печ. л. 2,80. Усл. кр.-отт. 2,98. Уч.-изд. л. 3,62. Тираж 59 065 экз. Заказ 1709. Цена 11 коп. Издательство «Знание» 101835, ГСП, Москва, Центр, проезд Серова, д. 4. Индекс заказа 887011. Типография Всесоюзного общества «Знание». Москва, Центр, Новая пл., д. 3/4.







**ЗНАНИЕ**

НОВОЕ В ЖИЗНИ, НАУКЕ, ТЕХНИКЕ